

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Мережковский Д. Лютер.

I. ЛЮТЕР И МЫ

Что такое Церковь? И что такое Личность? Что такое Христос?

Этого люди наших дней, в огромном большинстве, не знают; может быть, и знали когда-то, но теперь уже забыли, не могут или не хотят вспомнить; и дать им это почувствовать почти так же трудно, как слепорожденному, что такое свет, и глухорожденному, что такое звук. Люди вообще с трудом понимают ненужное для них, или то, что им кажется таким. Самое ненужное для человека наших дней, и потому самое непонятное, в этих трех звеньях крепко спаянной цепи, где среднее звено: что такое Личность? соединяет два крайних: «Что такое Церковь?» и «Что такое Христос?»

Личность будь для человека

Вышшим благом на земле, –

Hochstes Glock der Erdenkinder

Sei nur die Persönlichkeit –

учит Гёте, один из последних пророков Личности, но и один из первых от нее отступников, делающих роковую для человеческой личности попытку оторвать ее от того единственно живого корня, на котором она растет и которым питается, – от Личности Божественной – Христа. Гёте хочет вынуть среднее звено из той тройной цепи – Христос – Личность – Церковь; но не вынет, потому что слишком крепко спаяна цепь.

«Всякую попытку выставлять на вид то орудие муки с пригвожденным к нему Страдальцем, от которого и солнце отвратило лицо свое, мы считаем кощунством, – говорит Вильгельм Мейстер, Великий Мастер Каменщиков, в котором трудно не узнать самого Гёте.

– Нет, мы не шутим с этой божественной тайной страдания... и не делаем его орудие (Крест) украшением, боясь низвести то, перед чем мы благоговеем, на уровень низкого и пошлого». [1] Очень замечательно заглавие этой 2-й книги Вильгельма Мейстера «Die Entsagenden», Отрекающиеся, т. е. предсказанное Данте «великое от Христа отступление, отречение, il gran rifiuto». [2]

Тише, неслышнее, незримее и окончательней нельзя было сделать того, что делает здесь или пытается сделать Гёте, – снять с человечества Крест. Но дело это труднее, чем думает Гёте. Ветвь человеческой личности, отсеченная от лозы своей – Личности Божественной – Христа, – не может уцелеть.

Я есмь лоза, а вы – ветви; кто пребывает во Мне, и Я – в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не может делать ничего. Кто не будет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают (Иоанн, 15:5, 6).

Кажется, бескрестным человечеством, каким его хотел увидеть Гёте, а мы уже почти видели, и загорается сейчас этот огонь, сжигающий сухие ветви, пустые личины, без человеческих лиц.

«Делать без Меня не можете ничего», – ни делать, ни даже быть. Вот что Гёте забыл, когда, вынув из-под человеческой личности единственную опору бытия – Личность Божественную, – думал, что можно все-таки сказать человеческой личности: «Будь».

Никаких потерь не бойся –

Только будь самим собой.

Alles konnte man verlieren,

wenn man bleibe, was man ist.

Но этого-то мы и не хотим, если «мы» значит «люди наших дней», в том огромном большинстве, которым сегодня решаются или завтра будут решаться, судьбы мира. Быть не самими собой – личными, единственными, а бесчисленными, безличными, – вот чего мы хотим, потому что мера личности – качество, а наша мера – количество. Свойство личности – неповторимость, единственность, а наше свойство – повторения бесконечные. Главная воля наша – быть похожими на всех больше, чем муравей похож на муравья или один древесный лист на другой, быть похожими, как одна водяная капля похожа на другую. Воля наша – быть не целыми, а частью, не единицей, а дробью; сначала органической клеткой огромного государства, народа, племени, а потом механическими атомами той мертвой глыбы вещества, которой нам кажется

мир.

Как сильна в наши дни эта воля к безличности, видно из того, что на обоих полюсах нашей государственности – в коммунизме и фашизме – в самовластии всех над одним и самовластии одного надо всеми, – воля эта господствует одинаково. Противоположнейшие идейности во всем – фашизм и коммунизм – сходятся только в одном – в воле к безличности. Левая рука, может быть, не знает, что делает правая: та разрушает, эта создает; но обе все-таки делают одно и то же дело: борются с Личностью как с исконным врагом своим; подавляют ее как ненужную для себя или вредную силу.

Хуже всего то, что эта борьба – вслепую: как бы два человека, в темноте, схватили друг друга за горло и душат, и режут друг друга, не зная, кто кого и за что; хуже всего то, что эта борьба происходит на такой неисследимой глубине воли и так бессознательно, что борющихся нельзя остеречь, показать им, что они делают и на какую верную гибель идут.

Страшно то, что человек может, сохраняя внешнее лицо, человеческое, потерять лицо внутреннее; все еще казаться, но уже не быть человеком. Еще страшнее то, что, сохраняя и даже как бы умножая внутренние силы человеческого духа, будучи на высоте того, что люди наших дней называют «культурой», «цивилизацией», творя чудеса искусств и наук, человек может иметь внутреннее лицо звериное или насекомообразное, или даже никакого лица не иметь, а носить только пустую личину вместо лица. Но самое страшное – то, что эти человекообразные, овладевая людьми и делая их подобными себе, могут не только мучить их и истреблять, но и делать счастливейшими, так что ад, в котором они живут, им кажется раем.

Если быть личностью – значит быть человеком, то конец личности есть и конец человечества. Судя по тому, как в наши дни бесконечно растущая воля к безличности проникает, подобно тончайшему и сильнейшему яду, во все живые ткани человечества, гибель его неизбежна, если все и дальше пойдет, как сейчас. Может ли человечество спастись? Верующие знают, что могут, потому что недаром на земле был Спаситель; знают и то, что человечество может спастись не на чужбине, а только на родине Личности – не в Государстве, а в Церкви.

Государство, в лучшем случае, личности не видит, а в худшем – казнит. Церковь ставит Личность во главу угла, потому что сам Основатель Церкви есть первое и последнее, никогда не превзойденное и непревосходимое явление божественно-человеческой Личности. Сделаться личностью – сказать, один во всей безличной природе, «Я есмь» – человек мог только потому, что это говорит Сын Человеческий – Сын Божий:

Когда вознесете на крест Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я – Ego eimi (Иоанн, 8:28).

Высшее в Государстве – закон, т. е., в последнем счете, насилие над личностью. Высшее в Церкви – любовь, т. е., в последнем счете, воскрешающее освобождение личности. Государство приносит человека в жертву себе; в Церкви приносит в жертву Себя за человека Тот, Кого весь мир не стоит.

Но если так, то почему же люди уходят из Церкви? В Государство, от матери к той древней Волчице, что вскормила молоком своим двух первых Близнецов-Подкидышей, из которых один воздвиг на братниной крови величайшее из всех государств – будущего соперника Церкви – Рим? Может быть, люди, уходящие из церкви, не так виноваты, как это кажется тем, кто в ней остается. Есть ли такое глупое дитя, которое могло бы не знать, что для него лучше – греться у груди Матери, кормясь ее молоком, или мерзнуть голому на голой земле и ждать, не придет ли наконец Волчица? Но если и покормит, то все-таки тотчас младенец будет окровавлен слишком острым и жестким, точно железным, сосцом. И с каким жутким, тошным привкусом будет после молока материнского – волчье!

Нет, кажется, для того, чтобы люди могли уйти из Церкви в Государство так, как сейчас уходят, – что-то должно было произойти в самой Церкви. Что же именно? Вот вопрос, на который, может быть, еще не ответил, но который поставил Лютер всей своей жизнью и всем учением своим, так, как если бы он жил и учил, погибал и спасался, вместе с нами.

Как сочетается в той трехчленной цепи – Христос – Личность – Церковь – среднее звено с двумя крайними, – Лютер знает, как никто; это и мы могли бы

от него узнать. И если нет для нас нигде спасения, кроме Церкви, а к ней нет иного пути, кроме Личности, то и спастись мог бы помочь нам Лютер, как никто.

2

«Сколько веков согласие у тех (римских католиков)... и какая мудрость, какая святость, какие чудеса!.. А у нас что?.. Только я, несчастный, едва родившийся на свет... Ни знания, ни мудрости, ни чудес, ни святости... что же мы такое? Все мы вместе и клячи хромой чудом не исцелили. Кажется, то, что Волк в басне говорит о Соловье: „Ты – голос, и больше ничего (Vox est praeterea que nihil)“». [3] Это могли бы сказать и в наши дни, вместе с Лютером, все, кто поняли, что от грядущей им гибели – потери личности – нельзя спастись в государстве, – можно только в Церкви; все голые на голой земле, грудные дети-подкидыши, которые ждут не Волчицы, а Матери. Все они – только напрасно зовущие и плачущие, никем не услышанные – «Голос, и больше ничего». Но, может быть, о них и сказано:

Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит (Иоанн, 3:8).

Может быть, от Того, чье дыхание есть единственное начало Духа в человечестве, и через апостола Павла, Августина, Иоахима Флорского, Данте, до Лютера, и дальше, потому что дело Лютера до наших дней не кончено, а едва только начато; может быть, во всех, кто искал, ищет и будет искать не Церкви – невидимой, не одной из двух разделенных Церквей, Западной или Восточной, а единой Вселенской Видимой – Царства Божия на земле, как на небе; может быть, в них во всех совершается неисследимое до какого-то последнего срока шествие Духа в человечество, от Иисуса к нам.

Не было еще никогда, от начала мира, такого движения Духа, как в наши дни. [4]

Это почувствовал один из первых Лютер, выйдя или будучи выброшен из Церкви в мир. Это почувствовал он так осязательно, как человек, вышедший в бурю из дому в поле, чувствует на лице своем дыхание ветра, или как это чувствовали Апостолы в день Пятидесятницы, при Сошествии Духа, когда «внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились» (Деяния, 2:2).

Чтобы выразить то, что действительно происходило в мире, происходило в дни Лютера и происходит сейчас, кажется, надо бы точнее сказать, о чем говорит Лютер: не было никогда, от начала мира, такого движения не одного Духа, а двух, Святого и Нечистого; не было и такого между ними борения, как от лютеровских дней до наших. Слыша голос Духа, люди не знают, «откуда он приходит и куда уходит»: вот почему так часто и легко смешивают они голос Духа Божия с иным голосом, не от Бога идущим. Если и в таком человеке, как Иисус, люди не всегда умели отличить Дух Святой от Нечистого, то в других людях, даже в великих святых и пророках, – тем более.

Кажется, одна из главных немощей Лютера, не только для него самого, но и для дела его, роковая, – это смешение Духов.

«Сам Бог меня ведет, и я иду за ним». «Дело Его – мое». [5] Это Лютер знает всегда, по крайней мере, в главном деле своем – в суде Римской Церкви, но откуда и куда ведет его Бог – знает не всегда.

«Ты – освободитель христианства», – сказал ему однажды кто-то из учеников. «Да, – ответил Лютер, – но так, как слепая лошадь, не знающая, куда правит всадник». [6] И уже не другим, а себе самому признается он в тайне совести: «Я и сам не знаю, какими духами я обуреваем». [7] Если этого не знает он сам, то еще меньше знают другие.

«Некий августинский монах, Мартин Лютер, кинувшись, как бешеный, на Святую Матерь, Церковь, хотел ее задушить богохульными книгами... Это не человек, а Сатана в человеческом образе... Соединив в одну смрадную кучу... все бывшие до него ереси, он прибавил к ним новые», [8] – сказано будет в императорском указе после Вормского собора 1521 года, где Лютера судили, но не осудили и не оправдали, потому что и судьи, так же как и он сам, не знают, «каким он духом обуреваем», Святым или Нечистым. [9]

«Наш великий пророк», «наш святой Апостол, Мартин Лютер», – скажут ученики

его, [10] может быть, пристрастные к учителю. Но бывший сомнительный друг, будущий враг, великий гуманист, Эразм Роттердамский, менее всего может быть заподозрен в пристрастии, когда вынужден будет сказать о Лютере: «Этот новый пророк Илия есть Геркулес, посланный в мир для того, чтобы очистить Авгиевы конюшни (Римской Церкви)». [11]

«Да укрепит Господь нас, трудящихся и изнемогающих», – молится сам Лютер. «Нам должно быть Геркулесами и Атлантами, потому что мы держим мир на наших плечах». [12] Кажется, был такой день, часы или миги, когда Лютер в самом деле поднял на плечах своих, так же, как апостол Павел, всю тяжесть мира, и когда от него одного зависело быть или не быть, погибнуть или спастись христианскому человечеству. Что же он сделал – спас его или погубил? И так как опять-таки дело Лютера не кончено, а едва лишь начато, то что он делает сейчас – губит мир или спасает?

Если для всякого великого человека наступает уже здесь, на земле, в суде грядущих веков, Страшный Суд вечности, то Лютер все еще ждет приговора на этом суде и едва ли скоро дождется.

Так же, как все пророки, он сам хорошенько не знает, что делает и что через него делается в мире.

Был я чумой твоей, Папа, при жизни, и в смерти, буду смертью твоей! – это пророчество Лютера не исполнилось. [13] Если при жизни своей он действительно был или казался другим и себе «чумою» для Папы, после смерти сделался не «смертью» для него, а жизнью, «внутренней Реформой» Церкви, которая спасла ее, а вместе с ней, и Папу.

Медленное, но непрерывное оседание почвы под всем христианским человечеством, страшное, потому что от людей как будто независимое, естественное, необходимое сведение всех религиозных высот и глубин, к плоскости, начинается еще за два, за три века до Лютера. В 1429 году один из рыцарей Тевтонского Ордена пишет Великому Мастеру: «Не бойся отлучения от Церкви; не так страшен черт, как его малюют, и отлучение не так действительно, как это кажется Папе. Здесь, в Италии, это все уже знают; только мы, бедные немцы, все еще думаем, что Папа – земной бог. Нет, скорее, диавол». [14] Лет через сто Лютер не скажет этого сильнее или пусть даже слабее, грубее, но скажет спокойней, уверенней, и потому убедительней.

Папа Климент VII, когда однажды попрекнули его незаконным рождением, ответил так остроумно, что и Вольтер мог бы позавидовать: «А Христос?» [15] Тихая усмешка, с какой это, вероятно, было сказано, едва ли страшнее всех злодейств папы Александра VI Борджиа; эта человеческая плоскость, может быть, дальше всех «глубин сатанинских». Слишком понятно, что, услышав о таком ответе Папы, один из враждебных к Лютеру германских государей вдруг начал покровительствовать ему и делу Реформы. Так же понятно и то, что, слушая, как брат Иоганн Тецель, некий доминиканский монах, уполномоченный Святейшим Отцом проповедник Индульгенций, этого «Нового Евангелия», по слову тогдашнего богослова, учит, что «крест, которому Папа сообщил силу благодати, равен тому, на котором был распят Спаситель», и что сила отпущения такова, что ею может быть спасен человек, тот, который «изнасиловал бы Пресвятую Деву Марию и распял бы Христа», – слишком понятно, что простые люди, слушая эту проповедь, верили или, по крайней мере, сомневались, не должно ли верить, что она исходит от лица самого Папы. [16]

«Быть христианином – значит не быть римским католиком», – думает Лютер; [17] верно или неверно, дело не в том, потому что это не мысль, а крик человека, которого ночью, в темном лесу, грабят и режут разбойники. Люди Римской Церкви, сделавшие из нее «помойную яму крови и грязи, на радость Сатане», по слову не еретика Лютера, а правоверного католика Данте, – вот кто разбойники; а то сокровище, которое хотят они отнять у Лютера, – надежда спасти Церковь от поругания. [18]

«Мы хорошо знаем, какие злодейства совершались в течение многих веков на Святейшем престоле; как все законы нарушены им и как все извращены. Это зло сообщилось от главы к членам – от Папы к малейшим сановникам Церкви... Мы сделаем отныне все, чтобы преобразовать (reformare) Церковь». [19] Кто это говорит? Лютер? Нет, папа Адриан VI. Но все его усилия окажутся тщетными, потому что он захочет преобразовать Церковь не снизу, а сверху, не из

народной глубины, а с высоты церковной власти; но ни строить, ни чинить построенное здание сверху нельзя – можно только снизу, как это и сделает или попытается сделать Лютер, но уже выйдя из Римской Церкви.

Тридентский собор 1545 года, в самый канун смерти Лютера, занят реформой не церковного учения, а только церковных нравов и порядков, т. е. «пустяками», по умному и благочестивому слову Лютера. Вот почему «внутренняя реформа» Церкви окажется все-таки внешнею и недействительною. Страшная болезнь будет загнана внутрь и внутри усилится.

«В общем растлении всего христианского мира жизнь так далеко отошла от евангельской, что для всех очевидно, как необходимо преобразование Церкви[20]», – скажет очень умный и умеренный, все тот же, менее всего подозреваемый в пристрастии к Лютеру свидетель, Эразм. «Судят и миряне об этом деле, [21] и можно сказать, что среди них, чем больше людей, искренне преданных Евангелию, тем меньше у Лютера врагов... Каждый день мы слышим жалобы верующих на римское иго... Мир томится такою жаждой евангельской истины, почерпнутой в самом ее источнике, что, если не открыть людям дверей, то они их выломают». [22]

Лютер выломает двери, и хорошо сделает.

3

Да, Римская Церковь была на краю гибели. Лютер, сам того не зная и не желая, спас ее или, по крайней мере, все, что еще можно было в ней спасти. Чтобы понять, чем спасти, надо увидеть, как следует, ту главную и глубочайшую точку, с которой все начинается в религиозном опыте Лютера. Порванная или омертвевшая связь личности человеческой с Божественной личностью Христа в этом опыте восстанавливается или снова оживает. Внешнее делается снова внутренним; множественное – единственным; общее, церковное – личным. «То, что происходит между Ним[23] и мной», [24] не между Ним и всеми, а только между Ним, Единственным, и мною, через Него и в Нем, тоже единственным, – вот где соединяются, как под зажигательным стеклом, в одну огненную точку все рассеянные, уже холодные лучи как бы зимнего солнца – Христа в Римской Церкви. Вот где первая точка всего, что уже сделал, а может быть, и до наших дней делает Лютер.

Этим-то личным религиозным опытом Лютер, вышедший или выпавший из Церкви, и нужен сейчас нам, тоже выпавшим из нее, – нужнее всех, кто в ней остается. Этой-то волею к Личности мог бы он спасти и нас, погибающих так жалко и страшно, от воли к безличности.

«Об Отце мы ничего не могли бы знать без Иисуса Христа, Сына Божия... а о Сыне – без Духа». [25]

Но «Духа Святого не получает никто, если сам не испытывает того, о чем свидетельствует Дух; только этот внутренний, личный опыт Духа может нас научить, а все иное внешнее, церковное учение – лишь пустые слова». [26] «Я должен сам услышать, что говорит Бог». [27] «Я получил Евангелие не от людей, а от Самого Христа». [28] Здесь, в религиозном опыте Лютера, впервые за пятнадцать веков христианства, не только повторяется, но углубляется опыт апостола Павла:

Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей... благоволил открыть во мне Сына своего... я не стал советоваться с плотью и кровью [29] и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам [30] (Галатам, 1:15–17). Что от чего – Церковь от Христа или Христос от Церкви? Спрашивать об этом может только тот, кто еще не знает, ни что такое Церковь, ни что такое Христос. Самый вопрос об этом кажется Лютеру началом злейшей ереси. «Мысль, будто бы вера в Евангелие должна родиться от веры в Церковь и что власть Евангелия (Христа) подчинена папской (церковной) власти, – превратная еретическая мысль. Сам Люцифер хотел быть только равным Богу, а здесь Папа хочет вознестись над Богом». [31]

Папа – сначала наместник Петра, потом – Христа и, наконец, «второй земной Христос»; это никогда не будет сказано в Римской Церкви, но будет молча сделано. Нужен «наместник» – «заместитель» – только тогда, когда тот, кого он заменяет, отсутствует. Если бы люди живые чувствовали живое присутствие Христа в Церкви, в том смысле, как это чувствует и выражает религиозный опыт перво-христиан в слове «*Parousia*» – «вечное Пришествие – Присутствие –

Христа на земле», – то Папа был бы не нужен. «Царство мое не от мира сего» – понято в том смысле, что Христос, уйдя на небо, в тот мир, покинул этот мир и землю. Папа, наместник Христа, пришел на землю, потому что сам Христос ушел на небо. Что же, значит,

дана Мне всякая власть на небе и на земле (Матфей, 28:18); да будет воля Твоя и на земле, как на небе, – совсем не понято и даже как будто не услышано в Церкви.

Лютер первый понял или вспомнил, что значит вечное Пришествие – Присутствие Христа на земле. Понял или вспомнил первый, что каждый человек, спрошенный Сыном Человеческим «Кто я?» и отвечающий «Ты – Христос, Сын Бога живого», слышит и будет слышать везде и всегда, до конца мира, так же, как услышал Петр в Кесарии Филипповой:

Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец, сущий на небесах. И я говорю тебе: ты Петр – камень, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Матфей, 16:17, 18).

Лютер первый понял так ясно, как никто после Павла, что это исповедание Сына Божия – Единственного, человеком единственным, – есть изначальная точка всего в бытии Церкви.

Верующий не должен отступать [32]... если бы даже истинная вера осталась в нем одном (*Non debet deficere si remanet vera fides in uno solo*). [33]

«И там, где человек один, – Я с ним», – по не написанному в Евангелии слову Господню, Аграфу. [34]

Это и значит: первая точка Церкви есть «то, что происходит между Ним и мной», между Христом, единственной Личностью Божественной, и личностью человеческой во Христе, тоже единственной. Третьего между ними двумя – «посредника», Папы – не может быть.

«Мы [35] так же плохо жили, как римские католики. Но мы боремся не за [36] жизнь, а за [37] учение. Вот чего не поняли ни Виклефф, ни Гус, нападавшие только на дурную жизнь католиков... Папу я победил учением: только оно ему сломало шею». [38] Нет, не сломало и, может быть, не сломит; в этом Лютер ошибся: крепче или гибче оказалась шея у Папы, чем думала вся Реформация и даже вся Революция. Но главное учение Лютера не это, а то, что он пролагает между двумя Церквями, Восточной и Западной, путь к Единой Вселенской Церкви. «Я – только дровосек, прорубающий в лесной чаще просеку». [39] Лютер еще не вывел людей из того темного дикого леса, где заблудились они, как Данте в преддверии ада, но может вывести: все еще и донныне единственно верный путь христианского человечества – эта Лютерова «просека».

«Есть в учении Гуса („и моего“, мог бы Лютер прибавить) нечто согласное с учением евангельским, чего не может Церковь осудить, а именно то, что должно быть единая Вселенская Церковь» [40] (а не две, Западная и Восточная). Лютер первый понял, что слово Господне «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» остается неисполненным и даже неслышанным; и что главная причина «Разделения Церквей» – Схизмы – есть то, что видимый на земле в веках и народах, действительный глава Церкви – не Христос, а Папа.

Черною неблагодарностью заплатил Лев X верному слуге своему, Тецелю. После того как Лютер «проткнул барабан» его, он умирает, едва не отлученный от Церкви, отверженный и оплеванный всеми, кроме Лютера. «Слишком не мучайся: главная всему причина не ты; дело это – дитя другого отца», [41] – утешал его Лютер. Так оно и было в действительности: вся вина Тецеля в том, что он сказал просто, как дитя в сказке: «Король гол!» – объявив во всеулышание, «под бой барабана» и звон колоколов то, о чем надо было молчать: «Сам Господь Иисус Христос, отдав всю власть свою Папе, уже не правит Церковью; правит и будет править ею, до конца мира, только один Папа... Выше всех Апостолов, Ангелов, Святых, выше самой Пресвятой Девы Марии – он, потому что все они меньше Христа, а Папа равен Ему». [42] Это опять-таки в Римской Церкви никогда не будет сказано, но будет молча сделано.

Вот на это-то не сказанное, а сделанное Лютер и отвечает не только папе Льву X, но и всем папам, от Григория VII до Пия XI: «Первенство Папы доказывается жалкими декреталями, сочиненными меньше чем четыре века назад; но достоверная история одиннадцати веков, Св. Писание и постановление Никейского Собора, святейшего из всех, свидетельствуют против

этого первенства. Власть Ключей принадлежит не одному апостолу Петру, но и всем ученикам Господним, всей католической (не Римской, а Вселенской) Церкви, всему общению святых, чей Глава – не кто иной, как сам Иисус Христос. Первенство же пап есть первенство чести, а не власти. Церковь, с благодатными дарами своими и духовной властью, – не только в Риме и не только в епископах, но и повсюду, где есть Таинства и надежда, и любовь... Только в них есть Камень (Церкви), его же врата ада не одолеют». «Ни Собор Никейский, ни первые Отцы Церкви, ни древние общины Азии, Греции, Африки не были подчинены Папе; да и сейчас, на Востоке, существуют истинные христиане, у которых епископы Папе не подчинены. Все постановления Римских Первосвященников об их всемогуществе внушены только безмерною жаждою власти. Каково бы, впрочем, ни было это могущество, оно – не от Бога, а от людей, так же как и все царства мира сего, *dominia mundi*». [43] «Не вопиющая ли несправедливость – извергать из Церкви и даже из самого неба такое великое множество мучеников и святых, какими за четырнадцать веков прославлена Восточная Церковь?» [44] Это и значит: не может быть двух Церквей, Восточной и Западной; есть только единая Вселенская Церковь; или одна, или нет никакой Церкви. В этом «все мы – ученики Яна Гуса – и апостол Павел, и святой Августин... Но вот что удивительно: мы к этому пришли, помимо Чешского учителя. Страшный суд Божий над людьми попустил быть осужденной и преданной огню костра [45] – очевиднейшей евангельской истине – эта мысль потрясает меня. Горе земле!» [46]

И в заключение – то, что будет уже не преобразованием, а Переворотом, не Реформацией, а Революцией, сначала в Церкви, а потом и в миру: «Церковь может быть и без Папы; чтобы сохранить единство свое, нуждается она только в одном, единственном главе – Иисусе Христе». [47] Есть Глава у Церкви, но этот Глава не Папа, а сам Христос. Не сказано ли Им самим: «Се, Я с вами, во все дни до скончания века»? [48]

Вот где есть все еще живое слово Реформации – в этом постановленном ею и все еще не решенном Церковью и даже как будто не услышанном вопросе: кто видимый, присутствующий на земле в веках и народах глава Вселенской Церкви – Папа или Христос? Вот где Лютер мог сказать: «Сам Бог ведет меня, и я иду за Ним». «Дело Его – мое».

«Веруешь ли ты в учение сына твоего, Мартина?» – спросит священник умирающего отца Лютера. «Верую, – ответит тот, – надо быть негодяем, чтобы этому не верить». [49] Так же ответит когда-нибудь и все христианское человечество.

«Я посмеюсь над ней, как над мыльным пузырем» [50] – восклицает Лютер, когда прочел папскую буллу о своем отлучении от Церкви. «Я обличу эту буллу как нечестивую ложь... ибо она осуждает самого Христа... Вот когда я наконец убедился, что Папа – Антихрист, Рим – престол Сатаны». [51] «Эта сатанинская булла возмущает меня. Никогда еще, от начала мира, Сатана так не говорил против Бога. Страшные богохульства ее превосходят всякое воображение, и никто этого не видит». [52] «Если бы меня не удерживали здесь (в Виттенберге), я поехал бы в Рим, чтобы предаться ярости моих врагов». [53] «Что они могут сделать со мной? Убить?... И обесчестить как еретика? Но не был ли и сам Христос осужден как „соблазнитель“ и „еретик“?» [54] «Будем же радоваться, что мы удостоились так же страдать, как Он». [55] «Пилат сказал первосвященникам и народу: „Я не нахожу никакой вины в этом человеке“. Но они настаивали, говоря: „Он возмущает народ“» (Лука, 23:4–5). Как «возмутитель» и «мятежник», и был распят Иисус. Это Лютер первый вспомнил и напомнил людям так, что они уже никогда не забудут.

«Истины мятежной я не люблю», – говорит Эразм, и с ним согласились все папы, от Григория VII до Пия XI. [56] «А Христос любит», – отвечает Лютер. Вот новое «подражание Христу», неизвестное ни Фоме Кемпийскому, ни Франциску Ассизскому и никому из святых после первых веков христианства.

«Бог был явно со Христом... и так же явно с Лютером... Но оба они не были друзьями существующего порядка», – верно и глубоко понял Гёте. [57] Оба они – «враги существующего порядка», – это и значит «возмутители», «мятежники», но, конечно, совсем не так противоположны тому, как думает мир! А если не так, то как же? – этим-то вопросом, опять-таки не решенным и даже не услышанным в Церкви, и начинается, больше чем Преобразование, Реформация – Переворот, Революция, сначала в Церкви, а потом в миру.

Я лютеран люблю богослуженье,  
Обряд их строгий, важный и простой –  
Сих голых стен, сей храмины пустой  
Понятно мне высокое ученье.  
Не видите ль? Собравшись в дорогу,  
В последний раз вам вера предстоит:  
Еще она не перешла порогу,  
Но дом ее уж пуст и гол стоит, –  
Еще она не перешла порогу,  
Еще за ней не затворилась дверь...  
Но час настал, пробил... Молитесь богу,  
В последний раз вы молитесь теперь.

Тютчев

Вера ушла – уйдет и Церковь, и будет вместо нее только «пустой и голый дом».

«Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Матфей, 23:38).

Кто это сделал? Лютер? Нет, чье самое имя ненавистно, потому что не только для него самого оскорбительно, но и для Христа кощунственно. «Что такое Лютер? все мое учение – не мое, я ни за кого не распят. Апостол Павел хотел, чтобы верующие назывались не „павлианами“, а „христами“. Мне ли, праху и тлену, давать имя свое [58] детям Божиим?» (Michelet, I, 16). Церковь опустошил не Лютер, а те, о ком он говорит словами апостола Иоанна (Посл. перв., 2:19): «Они вышли от нас, но не были наши». [59] Главная тяжесть вины падает на них, но не на всех: в чем-то повлиял и Лютер на лютеран, опустошителей Церкви.

«Неразличение Духов» – одна из роковых немощей Лютера, а другая – бессилие или недостаточная сила надежды.

Ныне пребывают эти три: вера, надежда, любовь (1 Кор., 13:13).

Вера – от Отца, любовь – от Сына; надежда – от Духа. Эти три – одно, в вечности, но во времени – Первый Завет Отца – вера; Второй Завет Сына – любовь; Третий Завет Духа – надежда.

Многое еще имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину (toute la verite)... и будущее возвестит вам (Иоанн, 16:12–13).

Если то, чего люди не могли и все еще не могут «вместить» – не прошлое в Отце и не настоящее в Сыне, а будущее в Духе есть Единая Вселенская Церковь, – то на пути к ней откровение Духа в надежде, нужнее людям, чем откровение Отца в вере и Сына в любви. Может быть, в такие дни, как Лютера и наши, подвиг надежды – труднейший и святейший из всех. «Церкви врата адавы не одолеют, потому что слово Господне не может не исполниться», – это легко сказать, но, видя то, что сейчас происходит в мире и в Церкви, трудно, почти невозможно это почувствовать. Мало для этого веры, мало любви, – нужна как будто слепая, безумная, а на самом деле, может быть, единственно мудрая и видящая надежда.

Лютер много верит, меньше любит и еще меньше надеется. Вот почему на том пути к будущей Вселенской Церкви, где всего нужнее труднейший подвиг – надежда, – Лютер изнемогает. Именно здесь он меньше всего знает, «каким духом обуреваем», и больше всего похож на «слепую лошадь, не видящую, куда правит всадник».

Первая половина жизни его, когда есть еще надежда на видимую Вселенскую Церковь, противоречит второй половине, когда он теряет эту надежду. Только что Лютер сказал: «Лишь Невидимая Церковь будет Единой Вселенской», [60] как он вышел из борьбы. Можно бороться за видимую в веках и народах, за воинствующую, но за торжествующую, Невидимую – нельзя, потому что торжество, победа, есть конец борьбы.

Само понятие Невидимой Церкви, заменяющей Видимую уже здесь, на земле, заключает в себе противоречие, потому что в условиях земного бытия Тело Христово – Церковь – так же, как и всякое другое на земле, должно быть или видимым, или совсем не быть. Кажется, сам Лютер смутно иногда сознает, как страшен для дела его отказ от Видимой Церкви. Вместе с этим отказом овладевает им равнодушие ко всякому внешнему земному устройству Церкви, и он предоставляет его Государству. [61] «Прежде я думал, что можно управлять

людьми по Евангелию; но теперь я понял, что это – безумие: люди презирают учение Христа; чтобы ими управлять, нужен государственный закон, меч и насилие». «Слушаться надо закона, и дело с концом, rund und rein».[62] Но конец будет так печален, что Лютер вынужден признаться: «Сатана все тот же; [63] разница лишь в том, что прежде, под властью Пап, смешивал он Церковь с государством, а теперь смешивает государство с Церковью».[64] Там Волчицей сделалась Мать, а делается ли здесь Матерью Волчица, это еще вопрос.

Но если различие двух Церквей, старой и новой, так несущественно, то, может быть, игра не стоила свеч, и все дело Лютера не удалось. Эта «Невидимая Церковь» – не тот ли страшный «дом с голыми стенами», откуда Вера еще не ушла, но уйдет?

«Се, оставляется вам дом ваш пуст».

«Кажется, сам Лютер смутно иногда предчувствовал, что отказ его от Видимой Церкви есть отказ от последней надежды – отчаяние: „Я потерял Христа моего... я был им покинут... в отчаянии...“».[65] «Я никому, ни даже злейшим врагам моим, не пожелал бы страдать, как я страдал».[66] Что же довело его до такого отчаяния? Чтобы это понять, надо бы пережить вместе с ним то, чем был для него уход из Церкви.

«Римскую Церковь я готов почитать со всем смирением... выше всего, что на небе и на земле, кроме одного Бога», – пишет он своему покровителю, Саксонскому Фридриху Мудрому... за немного дней до того, чтобы объявить Папу «Антихристом» и Рим – «престолом Сатаны».[67] Видно по этому, что кровью изойдет сердце его от разрыва с Церковью и что, может быть, лучшую половину сердца он оставит в ней.

«Люди нечестивые видят в Церкви только грехи и немощи; мудрые мира сего соблазняются ею, потому что она раздираема ересями; чистая Церковь, святая, непорочная – голубица Господня – грезится им. Такова она и есть в очах Господних; но в человеческих – подобна Христу, Жениху своему, презренному людьми, поруганному, избитому, оплеванному и распятому».[68] Это Лютер говорит о своей Церкви, но, кажется, бывали минуты, когда он готов был то же сказать, если не другим, то самому себе, и о Римской Церкви.

«Nos est Corpus Meum. Sine est тело мое», – пишет он мелом на черном столе, отстаивая, как будто с редким и безнадежным упрямством, на Марбургском Соборе, против швейцарских учеников своих, Цвингли и Эколампация, не Римский, а вселенский догмат Пресуществления в таинстве Евхаристии.[69] Видимое Тело Христово в таинстве есть и тело Церкви, тоже видимое. Что и чем спасает Лютер в эту минуту? С последним ли отчаянием – последний жалкий остаток, или с последней надеждой – первую догму будущей видимой Церкви, этого он, может быть, и сам не знает.

В бедной келье своей, откуда потрясал он весь мир, стоя на коленях перед открытыми окнами, чтобы лучше видеть небо, молится он просто и смиренно, как дитя, сначала церковными латинскими молитвами, а потом своими, на родном языке. Все, кто слышит эти молитвы, испытывают такое чувство удивления и благоговения, как будто только теперь вдруг понимают, что значит молиться. «Сколько раз заставал я его молящимся так за Церковь, с воплем, плачем, рыданием!» – вспоминает один из свидетелей.[70] За какую Церковь молится Лютер – за Невидимую, Торжествующую? Нет, за нее нельзя – можно только ей молиться; значит, за Видимую. «Я имел однажды счастье слышать, как он молится, – вспоминает тот же свидетель. – „Это дело – Твое, Отец... Мы начали его, потому что должны были начать... Сохрани и соверши!“»[71] Можно молиться только о том, на что надеешься: значит, Лютер все еще надеется, что видимая церковь, как под мертвым камнем живой родник; если он умом уже не понимает, то все еще сердцем чувствует, что значит: «Вопреки надежде надеюсь (Contra spem spero)». «Сам Бог меня ведет, и я иду за Ним, Дело Его – мое», – мог бы он все еще сказать в такие минуты запредельного отчаяния, последней, вернейшей надежды.

«Действие Лютера до наших дней продолжается, и когда в дальнейшем оно прекратится, мы не можем предвидеть», – верно понял Гёте, потому что, вездесущий и всеобъемлющий, он все понимает – даже и то, чего не хочет, – как христианство.[72] «Мы еще не знаем всего, чем обязаны Лютеру и Реформации. С ними освободились мы от цепей духовной ограниченности... и могли бы, вернувшись к истокам христианства, постигнуть его, во всей

чистоте. Снова мы обрели мужество твердо стоять на Божьей земле и человеческую природу свою чувствовать, как Божий дар. Но сколько бы ни двигалось вперед просвещение, как бы ни расширялась и ни углублялась наука, как бы ни возвышался человеческий дух – никогда не поднялся он над той высотой... христианства, которая светится в Евангелии. Что же касается нас, протестантов, то чем дальше мы уйдем вперед в благородном духовном развитии, тем скорее последуют за нами католики. Только что они почувствуют и себя захваченными великим и все возрастающим просвещением века, как вынуждены будут волей-неволей пойти за нами, и это приведет к тому, что „все наконец будут едино“ (dass endlich alles nur eins ist)». [73] Это значит: продолжающееся в веках действие Лютера приведет к тому, что будет Единая Вселенская Церковь.

Смерти одного из первых протестантских мучеников, Леонарда Кайзера, сожженного на костре в Баварии, в 1527 году, Лютер завидует. «Жалкий я человек! Как не похож я на мученика Кайзера! Я только учу и проповедую слово Божие; только говорю о нем, а он его совершил... О, если бы мне лишь половину такого мужества дал Господь, с какой радостью я покинул бы мир!» [74] Это не было ему дано, как он думал, «по недостойнству». Но если невидимые бескровные муки души не меньше видимых, кровавых мук тела, то первый мученик за Единую Вселенскую Церковь – Лютер.

«Смертное борение я, кажется, терпел за многих», – это предчувствие его исполнилось: смертное борение надежды с отчаянием терпел он, в самом деле, за многих – за всех, кто искал, ищет и будет искать Церкви. Его отчаяние – их надежда; немощь его – их сила; его падение – их восстание. Язвами его они исцеляются. Надо было ему так погибать, чтобы они спаслись; Церковь надо было ему искать с такой последней надеждой отчаяния, чтобы они ее нашли.

«Я желал бы... отлученным быть от Христа за братьев моих», – мог бы сказать и Лютер вместе с апостолом Павлом (Рим., 9:3); и с блаженным Августином мог бы он сказать прямо в наши дни, как, может быть, иногда именно таким, как мы, погибающим: «Братья мои, я не хочу спастись без вас!»

5

Чтобы глубоко и по-новому задуматься о том, что сделал и все еще делает Лютер для голых на голой земле, покинутых Церковью Матерью, или покинувших ее, детей, вскормленных государственной властью – Волчицей, – чтобы об этом глубоко задуматься, нет лучшего места в мире, чем то, где я пишу эти строки, – в чужом доме, одном из многих приютов изгнанника, на древней Папской Скале, Рокка ди Папа. Стоит мне только поднять глаза к окну от написанных строк, чтобы увидеть подобную морю, то воздушно-голубую, то розово-желтую Римскую Кампанию, с медленно по ней скользящими паутинно-серыми тенями от облаков, – единственное в мире поле сражения, где столько народов, столько веков, боролось так яростно и тщетно за то, чтобы «все было едино». К западу, на самом краю неба – почти невидимое, бледно-желтое, плоское, как медный щит, Средиземное море – общая колыбель двух, а может быть, и трех человечеств – прошлого, настоящего и будущего; к северу тоже почти невидимый в солнечной мгле, как будто не настоящий, а только прошлый и будущий, Рим. Стоит мне только поднять глаза к окну, чтобы увидеть реющих в небе стальных птиц войны, чье заунывное курлыкание наполняет небо земною печалью и, может быть, пророчит Вторую Великую войну – гибель человечества; а внизу, под окном – сбегающие по горным склонам дикие заросли дубов и каштанов, где было логово древней Волчицы, вскормившей тех двух Близнецов, двух первых детей-подкидышей; за этими зарослями, в кратере потухшего вулкана, Альбанское озеро, чьи неподвижные воды кажутся и в самый яркий полдень ночными, Стигийскими, как воды подземных озер, и на том берегу этих вод – желтовато-белый, точно из слоновой кости выточенный куб или игральная кость – летний дворец Папы, прямо окнами в окна, против дома, где я живу, так что можно сказать, что я пишу против Папы о давно уже для него конченной, а для меня и, может быть, для многих – или немногих – подобных мне, едва начатой тяжбе Лютера с Римской Церковью; только, впрочем, физически, вещественно я пишу «против Папы», а метафизически, духовно – ни за, ни против, а вне. Но если нельзя отделить Церкви от Папы и спастись вне Церкви нельзя, то дело мое и наше – многих или немногих, подобных мне, – очень плохо.

Кажется, папа Пий XI, живущий в Белом Доме, за дебрями Волчицы на том берегу Стигийских вод, – просвещенный, гуманный и добрый человек. Нет никакого сомнения, что «соединение Церквей», или то, что он так называет, –

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)

одна из его заветнейших дум. Но если бы он знал, что я об этом думаю, и что, может быть, думают многие – или немногие, подобные мне, – то, вероятно, обратил бы не больше внимания на эту мысль, чем на жужжание мустики, или даже меньше, потому что от той надо отмахнуться, чтобы не ужалила, а у этих и жала нет – только жужжат. А все-таки я знаю или предчувствую то, чего еще не знает Папа, – что, может быть, для тех, коими сегодня решаются или завтра будут решаться судьбы мира, не только Папа, но и все христианство – лишь та осенняя муха, которая злее жалит пред концом.

Церковь, конечно, где-нибудь да есть, но, может быть, она состоит сейчас только из рассеянных по всему свету мирян. [75]  
Более нужного и утешительного для всех ищущих Церкви, чем эти слова Виклеффа, ничего и Лютер не скажет. Но что они для Папы? Злейшая ересь? Нет, только жалкий бред сумасшедшего.

Неразличение Духов и недостаток надежды – две великих немощи Лютера. Но, кроме этих двух, есть у него и третья, не меньшая – недостаток чувства меры. «Все преувеличенное незначительно» (Талейран). «Папа – Антихрист, Римская Церковь – престол Сатаны», – это слишком сильно сказано Лютером, преувеличено и потому – незначительно.

Мера искушения всегда соответствует мере того, кто искушается. Молнии падают чаще всего и с наибольшей силою на вершины высочайших гор. Судя по этому признаку, Римская Церковь – одна из величайших вершин человечества. Мудрости и святости достаточно у нее, вопреки всем ее грехам и безумиям, чтобы только усмехнуться на детский ужас Лютера: «Папа – Антихрист».

В каждой точке мира начинается один из двух возможных путей к высшему добру или крайнему злу, ко Христу или к Антихристу. Эти два пути начинаются и в Римской Церкви; но здесь оба они короче и прямее, чем где-либо, потому что сама Церковь есть высшая, ближайшая ко Христу или к Антихристу, точка мира. Если в Боге, в вечности, господствует закон: «Противоположное – согласное», то *antixoun sympheron* (Гераклит), то в человеке, во времени – тем более. Только от встречи двух противоположных сил рождается «молния – Кормчий всего» (Гераклит). В Церкви, на этой вершине вершин, происходят эти молниеносные встречи так, как нигде в мире. Молний бояться – в горы не ходить, бояться искушений – в Церкви не быть.

«Отойди от Меня, сатана» (Матфей, 16:23), – сказано Петру тотчас же после того, как сказано и это: «Ты – Петр, Камень, и на сем камне я создам Церковь Мою». И то не отменяется, а подтверждается этим. Как это ни страшно и ни темно для человеческого разума, надо было Петру в одну из тех двух минут быть «сатаной», чтобы в другую – сделаться Камнем в основании Церкви. Но между той минутой, когда Петр «сатана», и той, когда он будет снова «Камнем Церкви», должно было произойти нечто подобное тому, что произошло во дворе Каиафы:

И вышел вон, плакал горько (Матфей, 26:75).  
Кажется, вечная судьба Римской Церкви предсказана трижды в трех отречениях – падениях Петра. Первое – в Кесарии Филипповой:

Будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!  
(Матфей, 16:22).  
«Этого» – Голгофы. Второе отречение – во дворе Каиафы:

Начал клясться и божиться: не знаю человека Сего (Марк, 14:71).  
Третье – в Риме, когда, во дни Неронова гонения на христиан, говорили братья Петру: «Чтобы Господу и впредь послужить, беги!» и он бежал. Когда же выходил из городских ворот, то увидел идущего к нему навстречу Господа и сказал: «Господи! куда идешь? (*Domine, quo vadis?*)» и сказал Господь: «В Рим иду, чтобы снова распяться (*Vado Roman iterum crucifigi*)». [76]

Кажется, и в предсмертную ночь, на Тайной Вечере, предсказана самим Иисусом та же вечная судьба Римской Церкви:

Симон! Симон! Вот сатана просил, [77] чтобы сеять вас, как пшеницу. [78] Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, [79] утверди братьев твоих  
(Лука, 22:31–32).  
Трижды отрекается Петр и трижды слышит в последнем, на земле сказанном, слове Господнем:

Паси овец Моих (Pasce oves meas).

И тотчас же после того предсказано еще неведомое миру, последнее и, может быть, величайшее отречение – падение – Петра.

Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь (Иоанн, 21:18).

Кто этот «другой»? Палач? Нет, потому что идти на смерть за Христа не может значить для Петра «идти туда, куда он не хочет»: только для того он и вернулся в Рим, чтобы умереть за Христа. Нет, палачу не надо вести его насильно: он сам идет вольно, на вольную смерть.

Кажется, ключ к этой загадке, не только не разгаданной, но и не услышанной никем за две тысячи лет христианства, – в слове «другой», «иной», allos:

Я пришел во имя Отца Моего, и вы не принимаете Меня, а если иной[80] придет во имя свое, – его примете (Иоанн, 5:43).

Этот «иной Христос» – Антихрист. Он-то и «препошет» и «поведет» состарившуюся Римскую Церковь «туда, куда она не хочет». Но и это последнее, величайшее отречение – падение Петра не будет окончательным: отречется и покается, падет и восстанет. Вот что значит «Симон! Симон! Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу; но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, [81] утверди братьев твоих».

Нет, папа – не «Антихрист», как думает Лютер; но в каждом человеке, и в папе, наместнике Петра, так же, как в самом Петре, может быть высшее добро или крайнее зло – Христос или Антихрист. Уже и это достаточно страшно, чтоб, не преувеличивая это, не делать «незначительным», как делает Лютер, и будут делать многие после него.

Падает Петр и встает; отрекается и плачет. Но если в наши дни папа, наместник Петра, в чем-нибудь ему подобен, то не в этом. Тысячу лет, от Григория VII до Пия XI, зреет страшный плод под страшным солнцем – догмат папской «непогрешимости». В личной жизни как человек папа может грешить и каяться, но как наместник, глава Церкви – не может. Личную жизнь от общей церковной очень легко отличить, как «случайность», «акциденцию» – от «сущности», «субстанции», по Аристотелевой, или, точнее, Аверроэсовой логике-схоластике, на которой зиждется «Сумма теологии»; но по живому религиозному опыту, на котором зиждется Евангелие, – очень трудно, потому что жизнь менее всего логика. Этой-то «логикой» и «препошет» Римскую Церковь и «поведет» ее, куда она не хочет», тот черный херувим, который так зло смеется у Данте над папой Бонифацием VIII в последний час его, когда никакая логика не помогает:

А я ведь тоже логик – ты этого не знал?

(Forse: tu non pensavi ch'io logico fossi?)[82]

Папа «непогрешим на Святейшем Престоле» (ex cathedra), – такова навеянная Римской Церкви «черным херувимом» логика. Папская «непогрешимость» – неподвижность – нераскаянность. Плачущий от раскаяния папа – невиданное зрелище. Сколько бы ни пел петух, папа не заплачет. Сухи у него глаза; ничто из них и слезинки не выдавит, как из медных или мраморных глаз у изваяний древних богов. Римской Церкви конец – последняя точка – первая слезинка папы на Святейшем престоле, ex cathedra.

Странно, удивительно, что за тысячу лет никакому из пап – а были среди них святые и мудрые люди – не приходило в голову, что на весах человеческих и Божеских когда-нибудь, чем-нибудь должна уравновеситься Каносса. Юный император Генрих VI, отлученный от Церкви папой Григорием VII, стоял босой на коленях, в снегу, перед запертой дверью Каносского замка, откуда папа смотрел на него, каялся, плакал всю долгую зимнюю ночь, и снег под ним таял от его горячих слез. Каялся, плакал тогда, стоя на коленях перед папою, в духе Императора, весь мир. Но, может быть, кающийся папа когда-нибудь станет на колени перед миром, и растает снег под ним от его кровавых слез. Этим только Церковь и спасется – спасется мир.

«Exsurge tu quoque, Paule (Восстань и ты, Павел)», – призывается в булле папы Льва X об отлучении Лютера от католической Церкви не апостол Петр, а в Риме вообще для Петра забываемый, Петром заслоняемый, апостол Павел. [83] Совсем нет!!! Павел действительно «восстанет», но не в том смысле, как думает сочинитель буллы, и не против Лютера за папу, а против папы за

Лютера.

В самом начале Церкви, на Апостольском Соборе в Иерусалиме, «произошла великая распря, *polles de zeteseos genomenes*, между Петром и Павлом» (Деяния, 15:7). Через пятнадцать веков «распря» эта вспыхнет снова, но уже всемирным пожаром, в том, что, может быть, бесконечно больше, глубже и к будущему ближе того, что мы называем «Протестантством», «Реформацией».

«Я восстал на него[84]», – вспоминает Павел (Гал., 2:11). «Ты[85] восстал на меня», – вспоминает и Петр (в «Послании к брату Господню, Иакову», по идущему от 2 века преданию Церкви).[86] Все Протестантство, Реформация, дело Лютера и есть не что иное, как это Павлове «восстание» на Петра – вечное биение Павловой бурной волны о «твердый камень». В буре – движение и свобода; в Скале – неподвижность и закон. Как примирить эти два для жизни Церкви Необходимых начала – Закон и Свободу, Петра и Павла, – это все еще не разрешенный и даже не услышанный в Церкви вопрос.

6

Если до того, чтобы снова глубоко задуматься о том, что сделал и все еще делает Лютер, нет лучшего места в мире, чем то, где папа живет, так близко от меня и далеко, за дубрами Волчицы, у потухшего кратера-озера, на том берегу, черных, даже в самый яркий полдень, как будто подземных, даже под самым жарким солнцем, как будто ледяных, Стигийских вод, – если нет для этого лучшего места в мире, то и лучшего времени, может быть, не было от лютеровского до этих лет, 1937 года, когда на другом конце христианского Запада, в Эдинбурге, в Шотландии, собрались со всех концов мира на «Совещание Веры и Утверждения», *Conference on Faith and Order*, может быть, уже начало Вселенского Собора, люди сорока трех племен и народов, ста двадцати христианских исповеданий, ищущие Единой Вселенской Церкви – Царства Божия на земле, как на небе.[87]

«Все мы едины в вере в Господа нашего, Иисуса Христа, воплощенное Слово», – сказано в том постановлении, принятом на этом Совещании, которое названо так верно и глубоко «утверждением Единства». «Все мы едины в послушании Христу Единому, Главе Церкви, Царю царствующих и Господу господствующих. Все мы едины в признании, что это послушание выше всех других, которые могут у нас потребовать. Наше единство основано не на согласии нашего ума и воли, а на самом Иисусе Христе, Который жил, умер и воскрес, чтобы привести нас к Отцу, и который действием Духа Святого пребывает в Церкви своей. Но мы еще разделены сердцем и духом во внешних образах жизни нашей во Христе, потому что мы различно понимаем волю Его в Церкви. Верим, однако, что более глубокое взаимное понимание приведет нас, вопреки всем разделением, к общему познанию истины, какова она в Иисусе Христе. Мы смиренно признаем, что наши разделения противны воле Христа, и молимся, чтобы Господь, в милосердии Своем, сократил день разделения и привел нас всех Духом Святым в полноту Единства... Мы убеждены, что наше единство в духе и воле должно быть воплощено так, чтобы оно было явно для мира, но мы еще не знаем, каков может быть внешний образ этого воплощения... Мы верим, что всякая плодотворная попытка общей работы на пути к Царству Божию сближает все разделенные исповедания... Вот почему мы призываем братьев наших христиан всех исповеданий к этой общей работе... и говорим всем, кто хочет нас слышать: в заблуждениях и разногласиях нашего времени единственная для мира надежда единства – Христос... Мы молимся, чтобы всюду, в этом разделенном и мятущемся мире, все люди обратились ко Христу... и нашли, наконец, мир и единство с Ним, Ему же слава во веки веков».

Таково это «утверждение Единства» перед лицом мира, и вот каково оно перед Лицом Божиим, в общей благодарственной молитве, признанной в Эдинбургском Соборе, 18 августа 1937 года, впервые – за сколько веков! – людьми, пришедшими со всех концов мира, от всех христианских вероисповеданий, кроме одного – увы, не надо говорить какого.

«Бога Всемогущего, Отца, Сына и Духа Святого, мы благодарим за то, что мы – едины в Иисусе Христе.

Благодарим Тебя, Боже!

Мы благодарим Бога за то, что нам было дано общение в мысли и в молитве; благодарим за все, чему мы научились в этом общении, – за предубеждение рассеянное, за недоразумения устаревшие, за расширенное друг к другу

сочувствие, за более глубокое познание и за сделанное нами движение вперед.

Благодарим Тебя, Боже!

Благодарим за радость, которую мы испытываем, делаясь друг с другом обладаемым нами уже и теперь, общим сокровищем молитв и благочестия.

Благодарим Тебя, Боже!

Мы сознаем, что наше разумение истины, какова она во Христе, было ограничено нашей гордыней, своеволием, узостью наших умов, и что свидетельство наше перед миром было разделением нашим ослаблено.

Милостив будь к нам, Господи!

Вот почему все вместе молим мы Бога Всемогущего, Отца, Сына и Духа Святого, да не вменит Он нам греха разделения нашего и да подаст нам истинное покаяние и благодатную силу исправить наши пути.

Услышь нас, Боже Всеблагий!

Молимся, чтобы христиане всех исповеданий, с терпением и смирением, пришли к разумению более глубинному исповедуемых ими Евангельских истин, к пониманию более широкому истин, что засвидетельствованы в других исповеданиях; и, наконец, к такому познанию истины во всей полноте ее, в котором все познания частичные сведены к единству.

Услышь нас, Боже Всеблагий!

Молимся, чтобы повсюду христиане деятельно искали путей к явному засвидетельствованию уже дарованного нам единства сердца и духа.

Услышь нас, Боже Всеблагий!..Помоги нам, Христос, Спаситель наш единственный!» [88]

Если бы все христианское человечество спросило: «Веруешь ли, что так должно молиться?», то оно ответило бы, вероятно, так же неволью и необходимо-естественно, как умирающий отец Лютера ответил священнику: «Верую – только негодяи могут этому не верить!» Так ответили бы все христианские исповедания, кроме одного.

Не было еще никогда, за четыре века от Лютера, а может быть, и за девять веков от Разделения Церквей, такого приближения к Единой Вселенской Церкви. Una Sancta, как на этом Совещании: таков смысл итога, подведенного архиепископом Йоркским, председателем Совещания, тому, что было на нем сделано. [89]

Что же думает об этом мой Святейший Сосед, в Белом Доме, за дебрями Волчицы, или ничего не думает, обращая и на этот голос христианского человечества не больше внимания, чем на докучное жужжание мухи?

«Наше разделение есть величайший из соблазнов мира... Все мы должны устыдиться и покаяться в том, что довели Церковь нашими грехами до такого бессилия», – сказано в том же итоге.

Снова – в который раз – поет петух, но Наместник Петра не плачет; сухи у него глаза, как медные или мраморные очи изваяний; холодны, как Стигийские воды.

«Мы глубоко скорбим, что в нашей работе отсутствует великая Римская Церковь, умевшая лучше всех других церквей говорить с народами так, что они ее слышали», – сказано в том же итоге. Если это вопрос, то Римская Церковь давно на него ответила. «Ересь» объявлена в энциклике папы Пия XI, *Mortalium animas*, [90] всякая попытка к соединению Церквей, всю Римскую Церковь. «Соединение» – только на словах, а на деле – «присоединение» всех отклонившихся «схизматических» мнимых церквей к единой истинной Римской Церкви: вот первая и последняя, вечная воля Рима. «Roma locuta; causa finita» («Римом сказано – дело сделано»). Это значит: папская непогрешимость – недвижность – нераскаянность. Такова предпосылка логики Рима, а вывод таков.

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)

В 1910 году папою Пием X, предшественником Пия XI, одобрена торжественно и «настоятельно» книга одного французского ученого монаха-богослова «О твердости догмата и его движении вперед», где доказывалось, что «еретики», если они открыто исповедуют ересь, побуждая к ней и других примером своим, должны быть исключены не только из Церкви, отлучением, но и смертью – из числа живых.

Или попросту должны быть на кострах сожжены. Вот и значит: «твердость догмата и его движение вперед». «Истина светит сама собственным светом своим; ее не надо освещать огнем костра», – эти простейшие, ребенку понятные слова маленького антихриста, Вольтера, все еще не понятны великой Римской Церкви. А папа Пий XI наградил сочинителя этой книги кардинальским пурпуром.[91] Стоит лишь взглянуться в бритое, гладкое, спокойное лицо ученого профессора в очках, Пия XI, чтобы убедиться, что он не только еретика не сожжет, но и мухи не обидит. Этот вулканический огонь давно уже потух под Римской Церковью, так же как тот, под Стигийским озером-кратером, на чьих берегах живет мой Святейший Сосед! Но если в личной жизни Папы огонь потух, то в жизни общей, церковной, на Святейшем Престоле, ex cathedra, он все еще горит и едва ли скоро потухнет, потому что логика остается логикой, и «черный серафим» не делается белым:

А я ведь тоже логик – Ты этого не знал?

Если первая большая, логическая посылка «всякая попытка на соединение церковей вне Римской Церкви – не что иное, как ересь», а вторая, меньшая, «еретики должны быть исключаемы смертью из числа живых», то вывод слишком ясен.

«Плачем, стыдимся, каемся, а ты?» – спрашивают Римскую Церковь голоса ста двадцати двух христианских исповеданий, а Церковь молчит, только суше глаза у нее, как мраморные или медные очи изваяний, только все ледянее Стигийские воды потухшего кратера-озера.

Может быть, и сейчас в мире не меньше умных и добрых людей, чем прежде, но горе в том, что правят миром сейчас не они, а безумные или негодяи. Те одиноки и рассеяны, как овцы без пастыря, потому что в мире отсутствует то, что некогда объединяло их, – Церковь; а эти объединены, как никогда, потому что племя, народ, государство для них сделалось «Церковью». Но, кажется, смутное чувство-страх начинает овладевать всеми – умными и глупыми, злыми и добрыми – одинаково.

Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются (Лука, 21:26). Это еще не наступило, но уже наступает. Самый воздух наших дней насыщен пока еще бессознательной, но страхом общей гибели уже рождаемой, волею к какому-то единству, высшему, чем племя, народ, государство, – видно по тому, как люди хранят и лелеют полуживой недоносок, жалкий двойник Церкви – Лигу Наций.

Архиепископ Йоркский прав: «Великая Римская Церковь умела когда-то говорить с народами так, что они ее слышали». Может быть, и теперь еще сумела бы. Если бы на вопрос ищущих Вселенской Церкви «С нами ли ты?» Римская Церковь ответила «С вами», то, может быть, в мире произошло бы нечто подобное тому, что происходит в соленом растворе, когда вокруг опущенной в него стеклянной палочки соль мгновенно кристаллизуется, и жидкое тело становится твердым, разъединенное соединяется.

Люди наших дней идут в темноте ощупью, по подземному ходу, зная, что он бесконечен, или что в конце его – бездонный провал – гибель. Но если бы снова петух пропел и Петр заплакал, то, может быть, первая слезинка его блеснула бы людям, как первая точка надежды выхода из подземной тьмы на свет дневной.

7

«Церковь, конечно, где-нибудь да есть, но, может быть, вся она состоит сейчас только из рассеянных по всему свету мирян». Если это пророчество Винклеффа в наши дни исполнится, то главное в нем и все решающее – то, что люди, пока еще невидимо образующие Церковь, – миряне и что живут они, погибают или спасаются в мире, а не в Церкви. Главное то, что все они – дети-подкидыши, голые на голой земле, вскормленные не Церковью-Матерью, а

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)

государственной властью – Волчицею; и то, что все они «приходят от великой скорби» (Откровение, 7:14), с последней надеждой отчаяния. «Я потерял Христа моего... я был Им покинут в буре отчаяния», – мог бы сказать вместе с Лютером каждый из них. Главное то, что эти люди «по всему свету рассеяны» и одиноки, потому что ничего друг о друге не знают. Но «и там, где человек – один, Я с ним», – сказано, может быть, о каждом из них. «Где Христос в сердцах человеческих, там Церковь», по глубокому слову архиепископа Йоркского. Если так, то в сердце каждого из этих людей – первая точка будущей Вселенской Церкви.

Кто же эти люди, пришедшие на Эдинбургское Совещание, – те ли, о которых сказано в пророчестве Винклеффа, или не те; люди Церкви или мира? Знают ли они или не знают, как начатое ими дело почти сверх сил человеческих трудно? Знают ли, что ничего не будет ими сделано без великой Церкви Петра, потому что ей одной принадлежит обетование «Церковь Мою созижду на камне сем»? Знают ли, что для соединения Церкви Петра с ними нужно чудо? Вышли ли они уже из ста двадцати двух Церквей – может быть, уже только «храмов пустых с голыми стенами» – или еще в них остаются? Сто двадцать два – страшное число: чтобы разбить вдребезги отвердевший алмаз – Камень, положенный в основание Церкви, – какая нужна была преодолевающая, как будто почти одолевшая сила Адовых Врат!

И наконец, главный вопрос – только ответом на него решается все: знают ли эти люди или не знают, что начатое ими дело – уже не Преобразование – Реформация, а Переворот – Революция? Что между двумя Церквами, прошлой и будущей – той, из которой вышли они или в которой все еще остаются, и той, к которой идут, – зияет для человеческой воли и мысли непереступимая бездна – прерыв; что будущая Единая Вселенская Церковь возможна по религиозному опыту Иоахима Флорского, пророка «Вечного Евангелия», не в христианстве, а в том, что за христианством – не во втором Завете Сына, а в Третьем Завете Духа?

Судя по тому, что сейчас происходит в религиозно-пустом и все более опустошаемом растущей волею к рабству одержимом человечестве, мало надежды на то, чтобы оно могло спастись без сверхъестественной помощи, такой же, как та, что была ему послана в воплощении Сына Божия. Начал спасение мира Отец; продолжает Сын; кончит Дух. Это и сказал Иоахим, за семь веков до нас, так, как будто жил среди нас и погибал, как мы погибаем, но уже видел то, чего мы еще не видим, – единственную для мира надежду спасения – Третий Завет Духа. [92]

В дни Константина Великого соединились в общей «усыпальнице» (refrigerium), на Аппиевой дороге, два мнимых врага, Петр и Павел. «В разные дни пострадали они, но были одно (unum erant)», – скажет блаженный Августин. «Петр пошел вперед, а Павел за ним». [93] Так – во смерти, в вечности, но в жизни Церкви, в веках и в народах – не так: здесь Петр и Павел все еще враждуют в «великой распре» двух Церквей, протестантской и католической. Кто же примирит их и здесь, в веках, как там, в вечности? Кажется, и это предсказано в последнем слове Воскресшего Господа. Тотчас после того, как Петр услышал трижды «Паси овец Моих», он, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус...

Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду, что тебе до того? Ты иди за Мною» (Иоанн, 21:20–21).

Так вопрос Петра остался без ответа; тайна Иоанна, который «пребывает» – «присутствует» в веках и народах, так же как и сам Иисус, – не была открыта Петру, потому что он еще не мог ее вместить тогда и, за две тысячи лет христианства, все еще не вместил. Тайна эта, может быть, и есть явление Духа в будущей Вселенской Церкви, возможной не под знаком Двух – Отца и Сына, а только под знаком трех – Отца, Сына и Духа. Так, в порядке вечности и в порядке времени, Церковь эта возможна не под знаком двух – Петра и Павла, а только под знаком трех – Петра, Павла, Иоанна. Это и значит: Иоанн кончит «великую распрю» Петра и Павла в веках и народах; две расколовшиеся половины христианского Запада, две Церкви, католическую и протестантскую, соединит христианский Восток – Православие, но уже не прошлое и не настоящее, а будущее – Церковь Иоанна в Третьем Завете Духа.

«Вечного Евангелия пророком» называют Лютера ученики. [94]

«Я должен следовать примеру Иоахима, [95] который, уча ереси... не был отлучен

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
от Церкви», – скажет сам Лютер.[96]

Один из первых протестантских мучеников, Леонард Кайзер, чьей смерти завидовал Лютер, пел, восходя на костер:

Veni Creator Spiritus! (Дух Святой, прииди!)[97]

А триста лет назад, семидесятилетний старец, аббат Иоахим, кажется, в канун смерти своей и рождения нового, XIII века, проповедывал однажды о Третьем Завете и скором пришествии Духа в родном городке своем, Челико, близ Козенцы, у подножия Студеных Альп Калабрии, в очень старой часовне или церковке полуроманского, полувизантийского зодчества, каких много было тогда в Норманнском королевстве, на юге Италии. От сгустившихся на небе туч под низко нависшими, точно гробовыми, сводами церковки сделалось темно, как ночью.

«В первом Завете Отца – ночь; во втором Завете Сына – утро; в третьем Завете Духа – день», – говорит Иоахим.

И слушая, в ночи дневной, о солнце Вечного Дня, люди хотели поверить, но не могли, как, может быть, мертвые, спящие в гробах, видя во сне, в смерти, солнце жизни вечной, проснуться хотят и не могут.

Вдруг солнце, прорезавшее тучи, залило всю церковку ослепительно хлынувшим из окон дождем лучей. И, остановившись на полуслове, Иоахим взглянул туда, откуда падали лучи, перекрестился и молча сошел с амвона. Так же молча расступилась перед ним толпа и, когда они вышли из церковки, пошла за ним, как будто знала, куда он ведет ее и зачем. Лица у всех были неподвижны, широко открыты глаза, как у лунатиков: тою же таинственной силой неземного притяжения, как тех – луна, так этих влекло к себе солнце.

Молча пройдя через весь городок, где многие присоединялись к безмолвному шествию, так что толпа все росла и росла, вышли в открытое поле, откуда виднелись вдали белевшие на густо-лиловой темноте уходящих туч снеговые вершины Студеных Альп. Молча взошел Иоахим на один из тех могильных курганов, каких было много в Калабрийских полях (в них покоились норманнские викинги, дикие лебеди Севера, Иоахимовы предки), и, обратившись лицом к солнцу, поднял руки к нему, запел старческим, в открытом поле чуть слышным голосом:

Veni Creator Spiritus! (Дух Святой, прииди!)

И, пав на колени, с лицами, тоже обращенными к солнцу и поднятыми к нему руками, вся толпа подхватила таким громовым, землю и небо потрясающим воплем:

Дух Святой, прииди!

что казалось, вместе с нею, молится не только все человечество, но и «вся совокупно стенающая об избавлении тварь».[98]

Только тогда, когда все три разделившихся Церкви – Петра, Павла, Иоанна – Римское Католичество, Протестантство и Православие – скажут вместе:

Дух Святой, прииди!

только тогда будет Единая Вселенская Церковь.

Чтобы лучше понять, что для этого сделал и, может быть, все еще делает Лютер, надо знать, как он жил.

## II. ЖИЗНЬ ЛЮТЕРА

### 1

«Я – крестьянский сын; мой отец, мой дед, все мои предки были крестьянами», – хвалится Лютер недаром:[99] чувство кровно-живой связи с народом нужно ему для религиозного дела его, не греховного бунта, а святого восстания и восстановления падшего народного духа. Верен будет он этой связи главным и лучшим, что сделает, а когда изменит ей во дни Крестьянского бунта, то и себе, и делу своему уже изменит. Чтобы стать духовным вождем, надо было ему самому претерпеть все, что терпит народ, – нищету, голод, непосильный труд, и горечь бесконечных обид, и угнетение слабых сильными, бедных – богатыми, а может быть, добрых – злыми, верующих – безбожниками. Думает, конечно, о

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
самом себе как о первенце чего-то религиозно-большого и святейшего, чем то, что мы называем «демократией», когда предсказывает: «Много надо будет детям народа страдать, чтобы выйти из ничтожества... Но сам Бог будет ваять из них, как искусный токарь – из грубого дерева, великих людей... И некогда поведут они за собою весь мир – Церковь и государство».[100]

Лютер родился 10 ноября 1483 года, в маленьком городке Эйслебене, в глубине Тюрингских лесов. Ганс Лютер, отец Мартина, был сначала пахарем, а потом рудокопом на Мансфельдских местных рудниках, куда вынужден был переселиться, покинув родной городок из-за крайней бедности, и где приобрел многолетним трудом несколько плавильных печей и, сделавшись первым из четырех городских советников, вышел в люди.[101] Низенького роста, жилистый и коренастый, с живыми и умными черными глазами, он был благороден, честен и прям, но беспощадно суров к себе и к другим, так же каменно тверд, как те первозданные скалы, из которых вырубал он медную руду железным молотком. На руку тяжел со всеми детьми (их было семеро), и, может быть, особенно с маленьким Мартином – любимым первенцем своим, потому что хотел воспитать, как следует, думая, что воспитать – значит наказывать. «Батюшка однажды избил меня так жестоко, что я долго потом его боялся и прятался от него, пока опять к нему не привык. Также и матушка высекла меня однажды розгами до крови за какой-то несчастный орех. Оба желали мне добра, но, не различая духов, не умели наказывать в меру».[102] «Главной причиной того, что я впоследствии бежал в монастырь и постригся, была непомерная строгость моих родителей», – вспомнит Лютер, а все-таки будет им всю жизнь благодарен за «нежнейшую любовь и общение сладчайшее (caritas suavissima et dulcissima conversatio) – все, что я есть».[103] Но лицом и всею повадкою Лютер не в отца, а в мать, Маргариту, – судя по портрету Луки Кранаха, старую крестьянку, всю изможденную и высохшую от тяжелых работ.[104] «Мои родители были сначала так бедны, что матушка носила дрова на плечах».[105] Часто брала она к себе на колени маленького Мартина, нежно гладила по голове тою самую морщинистой рукой, которою секла, и напевала ему на ухо жалобную песенку, тихую, как шелест ночного ветра в лесу, и грустную, как улыбка больного ребенка:

Mir und Dir ist Niemand huld,  
Das ist unser beider Schuld.

«Сколько раз певал я потом, в жизни моей, эту песенку матушки», – вспомнит Лютер в старости.[106]

Все рудокопы – народ суевернейший,[107] потому что диаволу принадлежат сокровища подземных недр, в том числе и руда. Лютер был сыном рудокопа недаром: с детства тяготел на нем страх нечистой Силы. Может быть, мать, вместе с жалобной песенкой, наваяла на душу его «древний ужас», terror antiquus, смешивающий Бога с диаволом. После смерти маленького брата, которого соседка-ведьма как будто бы «сглазила», [108] ужас этот еще усилился. «Бедную матушку и нас, детей, ведьма замучила бесовскими чарами так, что надо было откупаться от нее подарками».[109] Одного священника довела она до того, что он утопился в реке.

К лысому темени Брокена, где справлялись шабаши ведьм, родился и доктор Лютер так же близко, как доктор Фауст. В зеленом, колдовством напоенном воздухе Вальпургиевой ночи оба живут от тех упоительно мерзостных ужасов, которые происходят в этой ночи; может быть, втайне влечется к ним так же, как Фауст. Будучи уже великим вождем Реформы, любит он рассказывать в «застольных беседах», Tischreden, об испытанных им самим или виденных и слышанных искушениях бесовских. Вот один из этих рассказов, может быть, воспоминание детства:

«Старый священник, стоя однажды на молитве, услышал, как диавол, чтобы ему помешать, хрюкал, точно целое стадо свиней. „Государь Диавол, Herr Teufel“, – сказал священник, – ты получил по заслугам – ты был некогда прекраснейшим из Ангелов, а теперь – свинья“. И только он это сказал, хрюканье затихло, потому что диавол не может выносить презрения; вера делает его слабее ребенка».[110] Но только истинная вера делает это, а суеверие – ложная вера – дает ему такую силу, что человек не знает, кто сильнее, Бог или диавол. Нечто подобное происходит и с маленьким Лютером, а потом и с большим.

«Ах, две души живут в моей груди», – мог бы сказать и он, как Фауст. «Две души» – два Бога, светлый и темный, добрый и злой. Бог и противобог – диавол: эта не побежденная христианством манихейская двойственность – первая точка всего Лютерова, так же как Августинова, религиозного опыта.

Так же боится маленький Мартин Отца Небесного, как земного, когда прячется от него после побоев. «Страшно впасть в руку Бога Живого», – это, прежде чем скажут уста, почувствует детское сердце, бьющееся, как пойманный и в ладони руки зажатый птенец.

Страшен Отец; страшен и Сын. Лютеру в детстве представлялся Христос, каким он видел Его в церкви, – восседающим на радуге, беспощадным Судьей – и каким слышали Его в немолчных громах Dies Irae, потрясающих ступенчатые своды соборов средних веков. «Имя диавола мне было менее страшно, чем имя Христа». [111] «Мы, дети, бледнели при одном только имени Его, потому что нам изображали Его неумолимо строгим и всегда на нас разгневанным Судьей... „Господу служите с трепетом“, – этот стих псалма огорчал меня: я все не мог понять, почему надо трепетать Бога». [112]

Даже правоверные католики, будущие враги великого «ересиарха» Лютера, едва ли могли бы увидеть что-либо злое и нечестивое в этом детски невинном вопросе: «Почему?» А между тем в нем уже заключено, как в малом зерне – великое дерево, все будущее дело Лютера – Протестанство в метафизически глубоком и вечном смысле этого слова: святое Возмущение, восстание человека не против, а за Бога.

2

Лютеру было лет восемь, когда родители отдали его в мансфельдскую церковную школу, одну из тех, где какой-нибудь нищенствующий монах или захудалый клерик за грошовое жалование учил детей чтению, счету и латинской грамматике в низших классах, а в высших – первым пустякам, которые были известны тогда и уважаемы всеми под громкими именами «риторики», «диалектики» и «физики». [113] «Путному в школе нас, детей, не учили, а только мучили побоями, – вспоминает Лютер. – Я был одно утро, без всякой вины, высечен розгами до пятнадцати раз». [114] Кроме считанных ударов сыпались на него и несчетные пинки, пощечины, затрешины таким дождем, что все тело его было в синяках и кровоподтеках. Плохо было телу, а душе еще хуже: «Бога представляли ему школьным учителем, с палкой или розгой, и он, по собственным признаниям, не только боялся, но и ненавидел Его, как палача», и в той бесконечно растущей ненависти все больше смешивал Бога и диавола. [115]

В школу мальчик ходил, а жил дома, где, несмотря на крайнюю бедность, родители в первые годы мансфельдской жизни его, вероятно, не морили голодом. Но по тогдашнему обычаю, принятому в школах, может быть, для того, чтобы приучить детей к смирению и милосердию в будущем, должен был и он, вместе с прочими, вечно голодными школьниками, ходить по улицам от дома к дому, с пением церковных молитв и псалмов, кончавшихся всегда одним и тем же припевом: «Дайте хлеба ради Бога! (Data panem propter Deum!)». [116]

В этой бесконечной из всех веков и народов тщетно к сытым и богатым обращенной мольбе нищих и голодных была уже не мертвая схоластика, а живое, будущему вождю и заступнику народа нужное знание.

Лютеру, когда он кончил Мансфельдскую школу, минуло тринадцать лет. В этом возрасте старшие сыновья бедных семейств должны были сами о себе промышлять, чтобы не быть обузой родителям. Вот почему Ганс Лютер, только что старшему сыну его пошел четырнадцатый год, отправил его доучиваться в соседний большой город Магдебург, дав ему на дорогу только новую пару башмаков да несколько медных грошей. Мать, не смея плакать при муже, молча глотала слезы и, глядя на маленького мальчика, с палкой в руках и котомкой за плечами, уходившего по большой дороге в неизвестную даль, крестила его издали.

Скоро отцовские гроши у него истощились, и, выпрашивая милостыню по дороге, голодая, ночуя под стогами сена, в высохших канавах и собачьих конурах, кое-как дотавился он до Магдебурга, где была знаменитая школа ученых монахов Лоллардов, «братьев Общей жизни», *fratres vitae communis*, нидерландских выходцев, ревностных учителей народа, уже мечтавших о Преобразовании Церкви, Реформе. Это великое слово, может быть, Лютер услышал впервые от них и запомнил.

В школе этой учителя были разумны и ласковы с детьми. Только здесь, отдохнув, наконец, от побоев, Лютер начал было учиться как следует. Но

скоро впал в такую нищету, что наука не пошла на ум. Должен был также и здесь, в Магдебурге, как там, в Мансфельде, ходить по улицам и, выпрашивая милостыню, тянуть заунывную песенку:

Дайте хлеба ради Бога!

Жил у чужих людей, в углу, из милости и, когда тяжело заболел, был так покинут, что некому было подать воды напиться. Только что немного оправился, бежал в Мансфельд, в родительский дом. [117] Сыну обрадовалась мать, а отец, увидев, посмотрел на него молча так, что лучше бы избил до крови. «Эх, сынок, сынок, толку из тебя, видно, не будет, а я-то надеялся!» – прочел он в этом, как будто спокойно-взвешивающем его взгляде отца, и покраснел, побледнел и готов был провалиться сквозь землю или бежать назад в Магдебург. Дома не зажился и рад был, когда, по просьбе матери, отец отправил его в соседний городок Эйзенах, где была тоже знаменитая, подготовительная к университету школа и где доживали свой век дед и бабка его по матери. «Внуку помогут они», – думала мать, но ошиблась: сами они были так бедны, что не могли помочь внуку. Милостыней жить пришлось ему и здесь, в Эйзенахе. Горькую чашу всех человеческих бедствий – нищеты, холода, голода – он испил до дна. [118]

3

«Может быть, все, что люди называют „судьбою“, „случаем“, управляется каким-то тайным Порядком» – Промыслом Божиим – это знал св. Августин; узнает и вернейший ученик его, Лютер, по опыту всей своей жизни. [119] Начал это узнавать в те черные дни юности своей, когда погибал и был спасен тем, что слепые люди называют «случаем», а видящие – «Промыслом Божиим».

В двух шагах от той школы при церкви Св. Георгия, куда ходил Лютер, жила благородная дама, Урсула, жена итальянского знатного и богатого купца, Конрада Котта. Часто, в церкви и на улице, встречая маленького нищего школьника с чудно живыми и умными глазами на женственно тонком, бледном и недетски печальном лице, эта умная и добрая женщина подавала ему щедрую милостыню, потому что было что-то для нее чарующе милое и жалкое в этом лице, что трогало ее до слез.

Однажды, в темное зимнее утро, когда шел мокрый снег с дождем и люди, злые от скверной погоды, как собак, отгоняли маленького нищего с бранью от всех дверей, он так устал, что хотел было вернуться голодным домой, в темный и сырой чулан, который нанимал за гроши у школьной старухи, но, решив попытать еще счастья в последний раз, постучал в двери дома, где жила Урсула Котт. Дверь отворила седая старушка служанка, с добрым лицом, и впустила его в дом, где сама хозяйка, выйдя к нему и взяв его за руку, ввела в прекрасную богато убранную комнату, усадила поближе к огню очага, велела служанке переменить на нем обувь и платье, накормила, обласкала, расспросила, как он живет, велела приходить каждый день, а через несколько дней приняла его к себе в дом навсегда и полюбила как родного сына. Новая жизнь началась для него: точно вдруг взошедшее над ним солнце осветило его и согрело. [120]

Кем будет для мира этот голодный и презренный маленький нищий, Мартин Лютер, угадала раньше всех людей в мире умная и добрая женщина, Урсула Котт.

Как Ветхий Завет относится к Новому – Закон к Благодати, – ответом на этот вопрос будет весь религиозный опыт Лютера. Что такое Закон, узнал он по горькому опыту детства, а что такое Благодать – по сладостному опыту юности. «Сладостней женской любви нет ничего на земле!» – в этих, напетанных пятнадцатилетнему мальчику уже немолодую, но еще прекрасною женщиной, простых и глубоких словах было, может быть, предчувствие уже и чего-то иного, чем только любовь матери к нему, как в благоухании цветущих лоз есть уже предчувствие вина. [121]

Закону научил его отец, а Благодати – та, кто сделалась его второю матерью и, может быть, первую, не в плоти и крови, а в духе, возлюбленной:

Здесь небывалому  
Сказано: «Будь!»  
Вечная женственность –  
К этому путь, –

скажет Гёте; этого не мог бы сказать, но почувствовать мог человек к нему ближайший и противоположнейший – Лютер.

4

В следующие три-четыре года, может быть самые счастливые в жизни его, он так там возмужал и окреп духом и телом, что трудно было узнать в этом цветущем юноше прежнего худенького и бледного, как будто тяжелобольного, мальчика. Точно увядавшее в тени комнатное растение вынесли под открытое небо, на солнце, и оно зазеленело вдруг новою яркою зеленью. В школе делал он такие успехи, что учителя говорили не совсем шутя: «Скоро нам самим надо будет у него учиться». [122]

В 1500 году, когда минуло ему семнадцать лет, покинул он Эйзенах, «свой милый город (meine Liebe Stadt)», как будет его всегда называть, и еще более милый дом Урсулы Котт, нареченной матери своей, чтобы поступить в Эрфуртский университет, лучший тогда в Германии. Здесь, продолжая делать такие же быстрые успехи, как в Эйзенахской школе, получил в 1502 году первую ученую степень – бакалавра, а через три года – магистра философии. Доктор Иодок Труттветтер (Jodocus Truttvetter), знаменитый логик и диалектик, сочинивший огромную «Сумму естественной философии», предсказывал ему великую будущность. [123]

Добрая молва о сыне дошла и до Ганса Лютера, и понял он, как был несправедлив к сыну в своем приговоре над ним, после бегства его из Марбургской школы: «Толку из него не будет!» «Нет, будет толк и, может быть, даже больший, чем я надеялся», – решил он и с этого дня начал говорить ему не «ты», а «вы» и называть его не просто Мартином, а «господином Магистром» и «господином Доктором», когда он получил эту высшую степень. Начал также высылать ему пособие, потому что к этому времени уже поправил дела свои так, что мог это делать. [124]

Каждому молодому человеку в те дни надо было, вступая в жизнь, выбрать один из двух путей – светский или церковный. Юный магистр Лютер выбора еще не сделал, но отец уже сделал за него. Веря, что святейший для человека закон и высшее достоинство – труд, от всей души презирал он попов и монахов как «дармоедов» и «бездельников». Вот почему выбрал он для сына путь мирской, мечтая сделать из него ученого законоведа и надеясь, что эта наука приведет его лучше всех других к тем высоким государственным должностям, на которых он заслужит почет и богатство, а может быть, и прославит имя Лютеров. С этой надеждой подарил он ему великолепный «Свод законов», *Corpus Juris*, стоивший так дорого, что потраченных на него денег хватило бы, чтобы избавить сына на несколько месяцев от той нищеты, от которой он едва не погиб в детстве. [125]

Лютер, покоряясь воле отца, посвятил себя законоведению, но эта наука была ему не по душе, потому что говорила не о вечных и мудрых законах естественных и божеских, а лишь о временных измышлениях человеческих, слишком часто порочных, глупых и злых. Вот почему он больше любил философию и в темнейшие глубины метафизики нисходил в поисках истины так же смело, как отец его, рудокоп, спускался в глубокие колодцы шахты в поисках драгоценной руды.

В эти дни был он или казался похожим на всех своих университетских товарищей, веселым и любезным молодым человеком, любящим не только тишину рабочей кельи с горами пыльных книг, но и пенье, музыку, пляску, и пенящееся в глиняных кружках пиво, и золотистое в граненых стаканах вино в эрфуртских погребах, подобных тому ауэрбахскому в Лейпциге, где бродячий школяр в огненно-красном плаще, черном берет с петушиным пером и лошадиным копытом в остром башмаке выцеживал из просверленного буравчиком дубового стола пьянейшие вина, чтобы позабавить доктора Фауста.

Но как омрачает безоблачно ясное небо зловещая тень перед затмением солнца, так омрачало веселую молодость Лютера нечто подобное припадкам душевной болезни, сначала легким и кратким, а потом все более тяжким и длительным.

Все шло как будто хорошо и счастливо, но вдруг овладевало им такое беспокойство, как будто он сделал что-то очень дурное, но забыл что, хотел вспомнить и не мог. Или еще бывало так, что маленькие, светлые мысли проходили по самой поверхности души, а под ними двигались большие, темные, как под солнечной рябью глубокой воды, морские чудовища. Или как у человека

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
с большим сердцем, бьется оно все быстрее, быстрее и вдруг останавливается,  
так и у него вдруг останавливалась жизнь.

Жаждущему снится, что он пьет, но, проснувшись, он чувствует еще сильнейшую жажду – так и он не находил в науке того, чего искал, – первой и последней, все загадки жизни разрешающей истины:

Ах! всю философию,  
Юриспруденцию и медицину,  
И, увы, теологию тоже  
Я изучил, с пламенным рвением;  
Но как был дураком, так и остался...  
Вот что сжигает мне сердце огнем! –  
мог бы сказать и доктор Лютер, как доктор Фауст.

5

Роясь однажды в старых книгах монастырской библиотеки в Эрфурте, нашел он огромную, в кожаном, изъеденном червями, переплете пахнущую мышами и плесенью, видимо, лет сто никем не читанную книгу, почти никому не известный, потому что запрещенный Церковью, полный латинский перевод Св. Писания.[126] «Лет до двадцати я и в глаза не видел его, а когда, наконец, увидел... то прочел с великим удивлением», – вспоминает Лютер.[127] Начал удивлением, кончил ужасом. «Почему в Адаме мы все осуждены, но не все спасены во Христе?»[128] «Если, как учит св. Августин, одна лишь десятая часть человечества спасется, а девять десятых погибнет» и «если Бог еще до создания мира не только знал, что это будет, но и хотел, чтобы это было, то что значит „благость Божия“»? [129]

Часто снилось ему, что он умер и стоит, весь дрожа, почти голый, только в жалком рубище, на Страшном Суде, ожидая приговора: «Ад или рай». «Этот сон и наяву исполнится наверно!» – думает он, просыпаясь в холодном поту от ужаса.[130]

Явно подчинившись воле отца в выборе мирского пути и продолжая изучать законоведение, втайне он все еще колебался между миром и церковью, когда два случая, или, как ему самому будет казаться потом, два таинственных знака, внезапно решили его судьбу.

В Пасху 1503 года, сговорившись с одним из друзей своих идти на побывку к родителям в Мансфельд, зашел он за ним рано поутру в уединенный подгородный домик, постучался в дверь, но, не получая ответа, вошел в комнату и едва не упал без чувств от того, что увидел там: друг его лежал на полу, в луже крови, с перерезанным горлом; ночью злодеи ограбили его и убили.[131]

Несколько дней Лютер ходил как помешанный: все видел красную лужу крови и прямо на него смотревшие, как будто с бесконечным удивлением, широко открытые глаза; все думал: «Чем он был хуже меня? За что погиб так страшно, случайно и бессмысленно?» Все вспоминал: «Если не покаетесь, все так же погибнете!» «Что же делать? Как же спастись?» Этого он еще не знал. Первого знака не понял; тогда был послан второй.

Летом 1505 года, возвращаясь в Эрфурт из Мансфельда, где жил у родителей, подходил он к селению Соттергейм, когда внезапно надвинувшаяся туча покрыла все небо, и, чтобы уйти от грозы, он сначала ускорил шаг, а потом побежал через поле, отделявшее его от Соттергейма, где мог бы он укрыться. Но не успел добежать до середины поля, как что-то вспыхнуло над ним таким ослепительным пламенем, треснуло таким оглушающим треском, что, упав лицом в сухую пыль земли – капель дождя еще не было, – подумал: «Сейчас убьет!» – и ждал второго удара. Но, не дождавшись, начал молиться св. Анне, всех рудокопов верной помощнице, которой в детстве его научила молиться мать.

Святая Анна, спаси, заступись, помилуй!..

И вдруг, для самого себя неожиданно, но чувствуя, что в тех двух словах, которые он скажет сейчас, будет большая сила, чем во всех громах и молниях, сказал:

«Я постригусь!»

И только что он это сказал – страха как не бывало: понял, что спасен.

Снова, еще ближе, как будто уже над самым теменем, что-то вспыхнуло, ухнуло, треснуло. В воздухе запахло серой; точно молния пронзила тело его от темени до пят; иглы невыносимой щекотки, бегающие искорки затрещали на концах пальцев и на вставших дыбом волосах. Вихрь налетел, закрутил, захлестал его по лицу сначала пылью, потом – дождем и, наконец, градом. Молнии падали, падали так часто и близко, что, казалось, не могли не убить. Но он уже ничего не боялся; все повторял: «Постригусь! Постригусь!» – и чувствовал, что одними этими словами, как нерушимой стеной, огражден, тихо покоился на огненном лоне грозы, как дитя на груди матери.

«Я крещу вас в воде... но Идущий за мною сильнее меня. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем», – вспомнил об этом и понял, что в этой грозе, как в огненной купели Духа, он крестится огнем.

2 июля был застигнут грозой на Соттергеймском поле, а через две недели, 16 июля, поселившись в Эрфуртской обители Братства отшельников св. Августина, начал готовиться к постригу, и в сентябре был пострижен. [132] Новое имя Августина дано ему было в пострижении. Может быть, и это имя не «случай», а «таинственный свыше знак». Лютер – в Августине; Августин – в Лютере: точно в двух разделенных веками телах – одна душа. Как внешне, во времени, ни различны лица людей, внутренняя, вечная их сущность так схожа, что трудно иногда узнать, кто кому двойник: Лютер Августину или Августин Лютеру.

В двух для них общих, главных и решающих вопросах – что такое зло? (Quod sit malum) или что такое мир? – потому что «весь мир лежит во зле», и что такое Церковь? – в этих вопросах оба думают и чувствуют так одинаково, что Августин мог бы говорить об этом словами Лютера, а Лютер – словами Августина.

6

В первые дни монастырской жизни брат Августин радовался так, как утопавший в пучине морской и чудом на корабле спасшийся человек.

В тесной келье с голыми белыми стенами, с узкою щелью то голубого-золотого, то черно-синего звездного неба в косом и глубоком провале окна, с Павлом и Августином на уютно прилаженной к поставцу-аналою книжной полке, с шелестом ветра в старых липах монастырского сада – с вечерними колоколами Ave Maria, – в этой тесной келье он был счастлив, как в раю.

Но счастье длилось недолго. Тяжелым ударом для отца было пострижение Лютера.

«Божьим призванием кажется тебе монашество сейчас, но берегись, как бы не показалось когда-нибудь искушением диавольским», – сказал он ему при первом свидании. «Эти слова отца как ножом резанули меня по сердцу», – вспоминает Лютер через много лет. [133]

Первою зловещею тенью, омрачившей для него радость тех дней, были эти слова отца, а второю – слова Августина: «Малым будет число спасшихся по сравнению с числом погибших... Но если бы даже никто не спасся, то люди не могли бы обвинить Бога в несправедливости... ибо их не спасете иначе как по незаслуженному, до создания мира предопределенному дару... Милует Бог, кого хочет, а кого хочет, ожесточает... действуя в этом по непостижимой для нас и с нашим человеческим судом несоизмеримой справедливости... Если бы меня спросили: „Почему Бог, дав некоторым людям волю к праведной жизни, не дал им нужного для нее постоянства... или зачем созданы те, о которых Бог знал несомненно, что они согрешат и погибнут?“ – то я ответил бы: „Не знаю! (Nescio!)“» [134]

Грешный брат Августин прочел эти слова Августина святого и подумал: «Ну а если бы его спросили: „Чем отличается Бог от диавола?“ – мог ли бы он и на это ответить: „Не знаю?“ И только что он это подумал, кончился рай – начался ад, то, о чем он потом всю жизнь не мог вспомнить без ужаса. „Я никому, ни даже злейшим врагам моим, не пожелал бы страдать, как я страдаю“. [135]

„Я соблюдал монашеский устав так строго, что если бы этим можно было спастись, то я, конечно бы, спасся“. [136] „Вся моя жизнь была бдением, постом и молитвой“. [137] Плоть свою умерщвлял, чтобы душу спасти; но вместе

с плотью и душа умирали. По какому-то чудовищному закону превратности, святость для него становилась грехом, подвиг – преступлением, и то, что спасает других, – его гибелью. Что с ним происходит, он и сам не понимает, но иногда казалось ему, что ни с одним человеком не происходило того, что с ним; как будто заболел он, первый из людей, какою-то новой, никому еще не известной болезнью, такой ужасной и отвратительной, что надо было скрывать от людей.

„Я нерушимо хранил все обеты целомудрия, послушания и нищеты... Но под этой наружной святостью в сердце моем было сомнение, страх и тайное желание ненавидеть Бога“.[138]

Всех спасти мог бы Всемогущий – Всеблагий должен был бы спасти всех; почему же спасает лишь избранных, немногих? Разве только десятая часть должна спастись, а все остальные погибнуть, по неизменному, еще до создания мира постановленному Предопределению Божию? „Когда я думал об этом, Бог казался мне злодеем“.[139] „Лучше бы уж никакого Бога не было!“ – говорил я в отчаянии“.[140] «Страшно впасть в руки Бога живого, но еще страшнее – неизвестно в чьи: Бога или дьявола». Слышались ему два голоса; один говорил: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный». А другой: «Идите ко мне, проклятые, в огонь вечный». И эти два голоса были так схожи, что он не знал, сколько их, – один или два? Мертвая петля, в которой он задышался, – ужас всех ужасов, мука всех мук – была для него в этом вопросе: «Два или один? Бог и дьявол, или Бог-дьявол?»

Как человек в темной комнате ничего не видит и не слышит, но вдруг чувствует, что около него кто-то стоит, так и он, по леденившей сердце его неземной тоске, вдруг чувствовал невидимое присутствие Врага, сначала около себя, а потом – в себе.

Когда однажды священник в церкви читал Евангелие о глухонемом бесноватом, брат Августин вдруг, с искаженным от ужаса лицом, закричал: «Я не он! Я не он! На, non sum, non sum!» – упал без чувств, пораженный, как молнией.[141]

«Имя Иисуса ужасало меня, и когда я смотрел на крест, то видел молнию».[142] Огненная молния радости в Соттергеймской грозе начала, а кончила эта ледяная молния ужаса.

2 мая 1507 года брат Августин, рукоположенный священник, служивший первую обедню, только что начал произносить молитву Приношения: «Тебе, Богу живому, вечному, истинному», – как напал на него такой ужас, что он хотел бежать из алтаря: «Страшно! Страшно!» – повторял почти громко; только стоявший рядом игумен удержал его от бегства.[143]

7

Отдых дает жертве палач, чтобы продлить пытку: то же делал и с Лютером его Бог и дьявол, его неизвестный палач. Только благодаря таким отдыхам пытка его могла продолжаться восемь лет. Внутренняя жизнь его была за эти годы тем, что он потом называет своим «адам» и о чем не мог вспоминать без ужаса, а внешняя жизнь шла, или казалось, что идет, своим чередом.

Осенью 1508 года настоятель Эрфуртской обители, главный наместник Августинского братства в Германии, Иоганн Штаупиц (Johann Staupitz), будущий многолетний друг и духовный отец Лютера, послал его в Виттенбергский университет, где преподавал он диалектику и физику по Аристотелю. Здесь же в 1509 году и получил он первую ученую степень уже не по философии, а по теологии: бакалавра св. Писания.[144] А в 1510 году, вернувшись в Эрфурт, получил вторую степень – сентентиария, Sententiarius, и начал готовиться к третьей, высшей степени – доктора, изучая всех отцов Церкви, Восточной и Западной, но больше всех ап. Павла и св. Августина, потому что чувствовал свою глубочайшую связь с ними в главном вопросе – муке всей жизни своей – о тайне Предопределения.[145]

В том же году брат Мартин (как начали его называть по-прежнему, новое имя «Августина» забыв) послан был уполномоченным в Рим, где ему поручили хлопотать по делам Братства.

С посохом и котомкой за плечами шел он, как паломник, пешком, трудным и длинным трехнедельным путем через Швабию и Умбрию. Так под конец устал, что ноги едва волочил и думал, что никогда не дойдет. Но дошел и, увидев Вечный

Город с тех же высот Монте Марио, с которых смотрел на него и предтеча Лютера, Данте, двести лет назад, – упал на колени, заплакал от радости, ниц до земли поклонился базилике Св. Петра – «всех церквей Главе и Матери, Mater et caput omnium ecclesiarum orbis», и точно к неземному видению простирая руки, воскликнул: «Ave Sancta Roma! Здравствуй, Рим Святой!»[146]

Древней фламинею дорожкой спустившись с Монте Марио, вошел через ворота дель Пополо в город, где в первой, налево от ворот попавшейся, ветхой маленькой церковке отслужил благодарственный молебен за то, что Господь сподобил его, недостойного, вступить на эту святейшую, кровью стольких мучеников орошенную, небу подобную землю.

«В Риме бегал я как полоумный по всем церквам и часовням.. свято веря всем небылицам, какие сказываются там». К древней базилике Сан Джованни на Латеране вела Святая Лестница, Scala Sancta, будто бы та самая, по коей возведен был к судилищу Пилата Христос. Кто вползал по ней на коленях доверху, читая на каждой ступени молитву Господа, тот не только сам получал отпущение грехов, но и любую христианскую душу освобождал из Чистилища. Лютер испытал на той Лестнице такую большую радость, спасая дедову душу, что он почти готов был жалеть, что отец и мать у него еще живы: если бы умерли, то извлек бы души их из Чистилища, из пламени, с еще большей радостью.[147] Так думал он и чувствовал на всех ступенях той благодатно крутой, как будто в самое небо уходящей Лестницы. Но вдруг на последней верхней ступени что-то слабо кольнуло его в сердце, как жало сонной змеи, и он не столько подумал, сколько почувствовал: «кто знает, правда ли все это или неправда?»[148] Тотчас же он подавил в себе это чувство, но не совсем: что-то от него осталось в душе, и, подобно тому как медленно действующий яд отравляет в теле человека всю кровь, это промелькнувшее сомнение отравило в душе брата Мартина всю невинную радость тех дней.

«Кто эти люди?» – спросил он однажды, увидев сражавшихся на улице вооруженных людей, и ушам своим не поверил, услышав, что это разбойничьи шайки не двух атаманов, а двух сановников Церкви – папского канцлера Аксанио Сфорца и кардинала Сансеверино.[149]

Если от избытка сердца уста говорят, то, по языку этих бывших христиан, новых язычников, видно было, кто они такие: «к сонму богов присоединенные» (relati inter Divos) – называли они святых; «благодать» – «бессмертных богов благодеянием (deorum immortalium beneficium)»; Папу – «верховным жрецом (pontifex maximus)», а Христа – «распятым Юпитером», по страшному слову Данте:

О, Юпитер,  
За нас распятый на земле, ужели  
Ты отвратишь от нас святые очи?  
Purg., VI, 118–120.

Мнимая проповедь кардинала Ингерани (Ingerani), в Страстную Пятницу, о смерти Христа, была действительным панегириком Папе Юлию Второму, богу Юпитеру, всеблагому, всемогущему (Jupiter optimus maximus).[150]

«Я не могу вспомнить без ужаса о тех кощунствах, что произносились при мне за столом сановников Римской Церкви. Кто-то из них сказывал при мне шутя, что, освящая за обедней хлеб и вино, священник бормочет про себя: „Хлеб еси – хлеб и останешься; вино еси – вином и останешься!“ (Panis es, et panis manebis, vinum es, vinum manebis!)».[151]

Папа Юлий Второй был доблестным воином; меч пристал ему лучше, чем посох, и шлем – лучше тиары. Когда узнал он, что войско его разбито под Равенной французами, то похулил Бога и сказал: «Тысяча диаволов! Так-то Ты защищаешь Церковь свою!»[152] Этому Лютер еще не верил тогда или старался не верить. «Я так благоговел перед Папой, что ради него сжег бы всякого еретика».[153] Все еще он думал или хотел бы думать, что Папа – невинная жертва окружающих его злодеев, сановников Римской Церкви – «агнец среди волков».[154] Папа был для него тою соломинкой, за которую хватался он, как утопающий. Все еще закрывал он глаза, чтобы не видеть то, о чем скажет потом: «В Риме совершаются такие злодеяния, что надо их своими глазами увидеть, чтобы поверить».[155] «Юлий Цезарь никогда не поверил бы, что некогда Рим будет таким трупом.. Кардинал Бэмбо, хорошо знающий Рим, говорит: „Вертел величайших в мире негодяев – здесь, в Риме“».[156] «Страшное в Церкви растление – вся эта громада бесстыдства, кощунства и алчности – неужели не грех, за который придется когда-нибудь людям ответить?»[157]

Сколько бы Лютер ни закрывал глаза, он видел то, что за два века до него уже и Данте увидел: логовом своим сделала Римскую Церковь – то место, «где каждый день продается Христос», – «древняя Волчица (antiqua lupa)», ненасытная Алчность (Cupidigia).

С большим правом мог бы сказать апостол Петр о папах Лютеровых дней, Александре Шестом и Юлии Втором то, что говорят у Данте в Раю о папе Бонифации Восьмом:

Престол, престол, престол мой опустевший,  
Похитил он и, пред лицом Господним,  
Мой гроб, мой гроб помойной ямой сделал,  
Где кровь и грязь – на радость Сатане!  
Parad, XXII, 21 – 24.

То, что ужасало Лютера только в чудовищных снах – предвкушение ада, – совершалось наяву, при свете дня, перед лицом христианского человечества, здесь, в Риме, где люди поклонялись Богу-Диаволу.

На возвратном пути в Германию, зайдя в Зальцбурге к духовному отцу своему, Иоганну Штаупицу, брат Мартин рассказал ему все, что увидел и узнал в Риме. Штаупиц, любивший его больше, чем с отеческой, – с материнской нежностью, понял, как ему тяжело; но понял также, что покой ему не может дать никто, кроме Бога. Взяв его за руку молча, долго смотрел на него с тихой ласкою, с какою мать смотрит на больного ребенка, и наконец сказал: «Сын мой, потерпи немного. Ничего в мире не остается безнаказанным. Не минует Божья кара и этих злодеев...» И еще, помолчав, прибавил: «Сохранилось в самом Риме от древних веков дошедшее пророчество: „Все это рушится (athleta ekeina), когда некий монах Августинова братства восстанет на Рим“». [158]

Вовсе не думая о Лютере, Штаупиц вспомнил это пророчество; и Лютер слушал его, не думая о себе. Но когда пророчество исполнилось, то поняли оба, кто этот монах Августинова братства, «восставший» на Рим.

8

Месяца четыре продолжалось паломничество Лютера в Рим. Но, только что вернувшись в Эрфуртскую обитель, вошел он в келью свою, как показалось ему, что он из нее никогда не выходил, и снова начал пытать его тот же палач, тою же пыткой, как четыре месяца назад. «Я осужден, проклят Богом», – эта мысль жгла его тем же огнем неугасимым, и тот же ад зиял у него под ногами. [159]

«Муки страха у меня были такие... что кажется, если бы они еще только немного продлились, душа моя уничтожилась бы». [160] «Страх осуждения нападал на него иногда с такою силой, что он близок был к смерти», – вспоминает, вероятно, по его же собственным признаниям, ближайший друг его и ученик, Меланхтон. [161] «Столько раз диавол нападал на меня и душил почти до смерти...» «Я провел более ста ночей в бане холодного пота», [162] – вспоминает сам Лютер.

«Что ты так печален, сын мой», – спросил его однажды за трапезой, видя, что он ничего не ест, приехавший в Эрфурт из Зальцбурга Штаупиц.

«Ох, куда мне деваться? Куда мне деваться? (Ach! wo soll ich hin?)» – простонал Лютер в смертной тоске и, закрыв лицо руками, убежал из трапезной. [163]

Бывали минуты, когда он чувствовал себя на краю гибели. Точно какие-то черные волны набегали, подымали его и уносили в кромешную тьму, где уже и страха не было, а было только желание конца. «Похули Бога и умри», – как говорит Иову жена (Иов, 2:9).

Лютер погибал, но не погиб – спасся. Чем? Этого он не умеет сказать и когда хочет вспомнить, то не может.

«Гром небесный поверг тебя на землю точно так же, как некогда Павла на пути в Дамаск», – говорит один из его друзей о Соттергеймской грозе, [164] но кажется, это вернее можно бы сказать о том, что его спасло и что он сам вспомнил через много лет, сравнивая с «молнией». [165]

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)

Было у него три внезапных, все решающих, религиозных опыта – три, человека повергающих на землю и душу его испепеляющих, «молнии»: первая – та, в Соттергеймской грозе – от Отца: «Страшно впасть в руки Бога живого»; вторая – от Сына: «Когда я смотрел на крест... то видел молнию»; третья – от Духа: «Люди ничего не могли бы знать об Отце... если бы Дух Его не открыл». [166] Лютер не знает или не умеет сказать, что его спасло, но знает и говорит, Кто спас, или, вернее, Кто начал спасать: не Отец и не Сын, а Дух. Прошлый, внешний, в последний век человечества во времени, в истории, путь спасения – от Отца через Сына к Духу, а будущий, внутренний, одним из первых Лютером пройденный путь – обратный: от Духа через Сына к Отцу.

Где, когда и как спасся, он почти не говорит, может быть, потому, что самое святое в человеке, тайное – для него самого непонятно, невидимо и почти невыразимо в словах. Только редкие и глухие намеки на это уцелели в воспоминаниях Лютера и в исторических свидетельствах о нем.

Весной 1512 года брат Мартин переведен был из Эрфурта в Виттенберг, где назначен младшим настоятелем в обители Августинова братства и где продолжал готовиться к докторской степени (видная, внешняя жизнь его все еще шла своим чередом, помимо внутренней); изучал Павла, больше всего – послание к Римлянам. «Я все горел желанием понять, что значат слова ап. Павла: „В Нем [167] открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет“ (Римлянам, 1:17)». [168]

Летом 1512 года брат Мартин несколько дней не выходит из кельи своей в «Черной Башне» Виттенбергской обители. Сидя на кирпичном полу перед узкой монашьей койкой – четырьмя сосновыми досками, покрытыми жестким войлоком, закрыв глаза и крепко, до боли прижимая лоб к острому краю доски, все думал, думал, думал, что значат эти два слова: «Праведность Божия, δικαιοσυνη Θεου»? Чувствовал сердцем, но разумом пытал ее так же бесконечно, безнадежно, зная, что не поймет, как узник царапает стену тюрьмы обломками ножа, зная, что ее не пробьет.

Слишком легко было понять, что «праведность Божия в Евангелии» значит: «Правосудие Отца в Сыне».

Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей... соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую (Матфей, 25:31-33).

Тех, стоящих от Него по правую сторону, кто, еще не родившись и даже не будучи создан, никакого добра не сделал, предопределен был, еще до создания мира, к вечному спасению, будет очень мало, потому что «много званых – мало избранных», а этих, стоящих по левую сторону, предопределенных тоже еще до создания мира к вечной гибели, будет очень много: вдесятеро больше, чем тех.

«Тогда скажет... тем, которые по правую сторону Его: „Приидите благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира...“ Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: „Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу“» (Матфей, 25:34, 41).

Это понять умом было слишком легко, но сердцем принять было невозможно. «Праведно-мстительного Бога... я ненавидел, я возмущался и роптал: „Мало Ему, что Он осудил нас на вечную смерть по Закону; Он осуждает нас и по Евангелию...“ Я был вне себя от возмущения... А за возмущением – вечный вопрос: почему Бог, предопределяющий на гибель невинных, не созданных, – отец, а не палач; Бог, а не диавол?» [169]

Думал, думал – стену царапал ножом, пока нож не ломался; тайну мысли пытал, пока мысль не кончалась безумием. Как бы черные волны набегали на него, подымали и уносили в кромешную тьму, где уже и страха не было, а было только желание конца: «Похули Бога и умри!»

«Но Бог наконец сжалился надо мною... Я вдруг понял». [170] Лютер, конечно, ошибается: его спасло не то, что он понял умом, а то, что почувствовал сердцем. Между двумя мигами – тем, когда он погибал, и тем, когда спасся, – произошло с ним нечто подобное тому, что происходит с тем глухонемым бесноватым, о котором, услышав чтение Евангелия в церкви, брат Мартин вдруг, с искаженным от ужаса лицом, закричал: «Я не он! Я не он» – и упал на землю без чувств. Может быть, он так же, как тот бесноватый, услышал:

«Дух немый и глухий... выйди из него и впредь не входи в него» (Марк, 9:25).

Может быть, произошло с ним и нечто подобное тому, что с Павлом на пути в Дамаск:

...вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?»  
(Деяния, 22, 6, 7.)

Этот «великий свет» и есть та молния, о которой Лютер вспоминает: «Когда я смотрел на крест, то видел молнию». [171] Может быть, и в Соттергеймской грозе он был повергнут на землю тою же молнией. Но те обе были молниями ужаса, а эта – радости.

Сердцем вдруг понял он, чего не мог понять умом, – что «праведность Божия» значит «оправдание человека Богом» [172] (*justitia, qua nos justos Deus facit* – «та правда, которой человека оправдывает Бог»), «праведный верой жив будет, – вспомнил я, и в ту же минуту все мысли мои изменились». [173] «Я наконец прорвался (*Da riss ich hindurch!*)». [174] «Вдруг я почувствовал, что воскрес, и увидел, что двери рая передо мною широко открылись». [175] «Это слово Павла о „праведности Божией“, некогда столь для меня ненавистное, сделалось вдруг сладчайшим и утешительнейшим». [176]

Только теперь понял он то, что сказал ему однажды духовник на исповеди, когда он каялся ему в страшных мыслях, о гневе Божиим: «Ты безумствуешь, сын мой: не Бог гневаётся на тебя, а ты – на Бога». [177]

Понял и то, что сказал ему старый друг его и учитель, Иоганн Штаупиц: «Знай, что эти искушения тебе нужны; ты ничего без них не сделал бы!» [178] Только теперь понял он, что «тайна Предопределения, для маловерных жестокая... становится для верующих любовной и радостной». [179] «„Сердца сокрушенного и смиренного Ты не отвергнешь, Боже“, – это пусть помнит тот, кто живет в невыносимой тоске осуждения... Да кинется он к Богу дерзновенно... и будет спасен. *In veritatem promittentis Dei audacter ruat... et salvus erit*». [180] «Человек всегда грешен, всегда кается, всегда оправдан. *Nemo semper peccator, semper penitens, semper justus*». [181] «Пуще грехи, крепче верь и во Христе радуйся. *Pecca fortiter, sed fortius fide et gaude in Christo*». [182] «левой ногой во грехе, а правой – в Благодати». [183] «Все христианство заключается в том, чтобы чувствовать... что все наши грехи уже не наши, а Христовы», [184] ибо «Его, безгрешного, Бог сделал за нас грехом», по слову апостола Павла (2 Коринф., 5:21). «Как бы сам Христос говорит о грешнике: „Я – он, его грехи – Мои, потому что... Я с ним – одна плоть. *Ego sum ille peccator... ejus peccata sunt mea, quia conjuncti sumus in unam carnem*...». [185] «Научись говорить Христу: „Ты Господь, – мое оправдание, а я – Твой грех; Ты взял Себе мое, а мне дал Свое; Ты взял у меня то, чем ты не был, и дал мне то, чем не был я“. *Tu es justitia mea, ego autem peccatum tuum*». [186]

«Сам Христос как бы наклоняется к павшему, берет его к Себе на плечи и выносит из ада и Смерти». [187] «Перескочить от своего греха к праведности Господа и быть так уверенным в том, что праведность Его – моя, как в том, что мое тело – мое, – в этом заключается все дело спасения». [188]

Новое, небывалое за все века христианской святости, в этом религиозном опыте Лютера то, что здесь впервые услышано грешником так, как никем из святых, и больным так, как никем из здоровых, этот зов Иисуса Врача:

...Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; я пришел призвать к покаянию не праведников, но грешников (Марк, 2:17).

Новое, небывалое здесь то, что в лице Лютера приходит впервые все больное человечество, как прокаженный, к Иисусу Врачу и, умоляя и падая перед Ним на колени, говорит Ему: «Если хочешь, можешь меня очистить», и, умилосердившись над ним так же, как над тем прокаженным, Иисус прострет руку, коснется его и скажет ему: «Хочу, очистишься» (Марк, 1:40, 41).

Вот что Лютер узнал в том религиозном опыте, который в жизни его решает все и многое решит в жизни христианского человечества; вот чем он спасется и спасет других, потому что нельзя человеку спастись одному – можно только с другими. «Братья мои, я не хочу спастись без вас», – мог бы сказать и Лютер вместе со св. Августином.

Пять следующих лет, от 1512 года, когда он повержен был на землю молнией – «великим светом с неба», как Павел на пути в Дамаск, до 1517 года, когда он встанет с земли и услышит, тоже как Павел: «Я... посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету» (Деяния, 26:17, 18) – все эти пять лет Лютер только и делает, что медленно, трудно, ощупью, как слепой, идет от себя к другим, от личного спасения к общему.

Осенью 1512 года он получил степень доктора Святейшей Теологии в Виттенбергском университете, только недавно основанном и посвященном «Богу, Пресвятой Деве Марии, св. Августину и ап. Павлу». [189] Это посвящение, может быть, еще один знак свыше поданный, таинственный и подобный стольким другим в жизни Лютера – указание прямого пути от Павла через Августина к Лютеру.

Северный городишко Виттенберг, триста пятьдесят домов с пятью тысячами жителей, среди унылой песчаной равнины, на берегу Эльбы, «на самом краю просвещенного мира» (*in termino civilitatis*), [190] по слову Лютера, делается, благодаря ему, на сорок лет духовною столицей христианского Запада; будет два Рима – тот, старый, на Тибре, и этот, новый, на Эльбе, и между ними будет борьба на жизнь и смерть. Сколько веков продлится и чем кончится борьба, еще и мы не знаем сейчас.

В 1513 году Лютер толкует на университетской кафедре сначала Послание к Римлянам, а затем Псалмы. «После долгой, долгой темной ночи снова забрезжил день», – скажет об этих годах Лютера ученик его Меланхтон. Темная, долгая ночь – средние века; а брезжащий свет – тот самый, которым и мы живем сейчас.

Молниям были подобны иные слова твои, Лютер, *Fulgura erant linguae singula verba tuae*, – подпишет Меланхтон под тогдашним портретом учителя [191] и будет отчасти прав: если это еще не «молнии», то уже зарницы будущей великой грозы. [192]

*Contra scolasticam Theologiam*: против школьной теологии – так определяет сам Лютер исходную точку своего движения. «Против» – в этом слове – метафизический корень им самим еще не осознанного и еще не названного, но уже родившегося и растущего «противления», «Протестантства» – в глубоком и вечном смысле этого слова. «Против того, что все говорят» (*contra dictum commune*), – определяет он эту исходную точку движения. [193] Против всех один, против множественности безличной Личность единственная – есть вечная душа Протестантства, Противления вечного.

Чем отличается мертвая буква Закона от живого духа Евангелия – то, что поработает во внешнем догмате от того, что освобождает во внутреннем опыте, – Лютер определяет с такою точностью, как это не было сделано никем за тысячу лет христианства по слову св. Августина.

«Верю оправдать человека, без вмешательства закона (*justificari hominem perfidem, sine operibus legis*)», – эта цель апостола Павла (Римл., 3:28) впервые снова указана Лютером, как цель всего христианского опыта. [194] Внешние дела закона – гибель; внутренние дела веры – спасение: это Лютер понял, как только что сам погибавший и спасшийся, Вся его проповедь – исповедь; что на языке, то и на душе. «Только отчаявшись в себе в делах твоих, ты найдешь покой», – это сказано от сердца к сердцу так, что этому нельзя не верить. [195]

Начинает говорить на латыни, на мертвом чужом языке, а продолжает и кончает по-немецки, на живом и родном языке. «Мы любим слушать его, потому что он с нами говорит на нашем родном языке», – вспоминает один из слушателей. [196] «Просто говорите с простыми людьми; не думайте о людях больших и ученых; думайте о маленьких, не знающих», – советует он другим и делает сам. [197] К темным людям идет, к оставленным и презренным детям Божиим, чтобы принести и им свои знания. Только что изданный великим гуманистом, Эразмом, греческий подлинник Нового Завета и только что изданная другим, еще большим гуманистом, Рейхлиным, «Еврейская грамматика» – тогдашние настольные книги брата Мартина. Новое знание соединяет он первый с новою верою, Историю – с Мистерией, как это не было сделано никем за полторы тысячи лет христианства после Павла. «К первым векам христианства вернемся – к Церкви Апостольской: только здесь лекарство от всех наших недугов; жизнь только здесь», – скажет и это он первый. [198]

В 1515 году Лютер назначен областным викарием, заместителем Мейсена и Тюрингии, получает в управление одиннадцать обителей Августинового братства.[199] После главного заместителя Штаупица, он, в тридцать два года, уже первое в братстве лицо.[200] Все еще вздыхает иногда о райской тишине святой обители: «О, блаженное уединение! О, единственное блаженство! О solitudo beata! O sola beatitudo!» Все еще ставит в заголовке писем: «Из кельи моей», «Из пустыни (ex eremo)».[201] Но уединение кончилось для него; он уже весь на людях. Медленно и трудно, как слепой, ощупью, переходит от созерцания к действию.

Начал проповедывать с университетской кафедры немногим; продолжает с кафедры церковной проповедывать всем, – сначала в маленькой часовне Августинской обители, а потом в большой приходской церкви.[202] Толпами люди сходятся слушать его не только со всего Виттенберга, но также из окрестных городов и селений. Слушают все внимательнее, верят ему все больше и ждут от него небывалого. Уходя к простому народу от ученых книжников, так же радостно чувствует он, что темная, но живая, сила народа подымает его, как чувствует пловец, что сдвинутую с мели лодку поднимают глубокие воды.

10

В 1516 году Лютер пишет для диспута одного из учеников своих, Франца Гюнтера (Franz Gunther), на ученую степень бакалавра Св. Писания, девяносто пять тезисов или, как сам он их называет, «парадоксов». Греческое слово «paradoxon» значит: «странное, удивительное учение». Вот некоторые из этих стальных, раскаленных добела и все еще до наших дней, за четыре века, не потухших строк:

«После грехопадения человек подобен гнилому дереву; он ничего не может ни желать, ни делать, кроме зла».

«Утверждение, будто бы воля свободна в выборе добра или зла, есть ложь; воля – раба».

«Нет ничего в природе человека, кроме похоти и удаления от Бога».

«Мы – не господа наших дел, но их рабы, от начала до конца».

«В праведности человеческой – лишь гордость или уныние, то есть грехи».

«Грешный человек не может естественно желать, чтобы Бог был Богом, но может только часто желать, чтобы Бога не было и чтобы он, человек, сам был Богом».

«К Богу любовь в человеке неестественна и может быть только следствием непрестанной Благодати».

«Благодати в человеке ничего не предшествует, только нерасположение к ней или, вернее, возмущение».

«Проклят совершающий дела Закона; благословен совершающий дела Благодати».[203]

С этими «парадоксами» 1516 г. внутренне связаны и другие, написанные Лютером в следующем году:

«Делая то, что ему свойственно, человек всегда смертно грешит».

«„Делай то-то“, – говорит Закон, но человек не делает ничего. „Верь в Того-то“, – говорит Благодать, и множество дел совершается».

«Все дела человеческие, какими бы ни казались... добрыми, – лишь смертные грехи; все дела Божии, какими бы ни казались... – святы».

«Эти парадоксы извлечены из ап. Павла и вернейшего его истолкователя, св. Августина».[204]

«Всем этим мы не хотим сказать и, полагаем, не сказали ничего противного учению Святой Католической Церкви», – заключает Лютер Парадоксы 1516 года, явно перед кем-то в чем-то оправдываясь.

«На воре шапка горит; кто оправдывается, тот обвиняет себя», – могли бы ответить ему римские католики. Кажется, впрочем, он и сам иногда сознает, что с Римской Церковью не все у него благополучно. «Многие называют эти парадоксы *kakiste doxa* (злейшим учением), злейшей „ересью“, – пишет он одному из друзей своих. – Сообщите их ученому прелату и умнейшему доктору Экку; я хотел бы знать, что он скажет о них». Доктор Экк – тогдашний друг его и будущий враг, обличит его в «злейшей ереси», в «отступлении» от католической Церкви. [205]

«Я прорвался наконец», – радовался Лютер пять лет назад, когда спасся от гибели, озаренный «великими Светилами с неба», как Павел на пути в Дамаск. «Я прорвался» – значит «вышел откуда-то и куда-то вошел». Но откуда и куда, сам не знал тогда и теперь еще не знает. Если бы ему сказали, что он вышел из бывшей Церкви Римской и вошел или войдет в будущую Церковь Вселенскую, он этому не поверил бы, а может быть, и не понял бы, что это значит.

Пишет «парадоксы» – раскаляет добела стрелы, кует мечи, – на кого – он и этого не знает, не видит врага, но увидит сейчас.

11

Сколько нужно было денег папе Льву X на постройку новой базилики Св. Петра, на безумную роскошь свою и всей жадной родни своей, на мнимые Крестовые походы против неверных – турок, татар и московских схизматиков, на действительные войны в самой Италии, имевшие целью деление владычества пап – сколько нужно было на все это денег, сам Лев X хорошо не знал. Но голод древней Волчицы, той, что, по слову Данте:

Чем больше ест, тем голодней,  
Dopo il pasto ha piu fame che pria  
(«Ад», I, 99),  
никогда еще не был так лют, как в эти дни.

«Банк Духа Святого», *Banco di Spirito Sancto*, имя это лучше всего пристало для начатой не Львом X, но им продолженной и законченной, всемирной торговли Отпущениями. «Смерти грешника не хочет Бог, а хочет, чтобы он платил» – к этой простейшей и всем понятнейшей истине сведено было дельцами Римской курии учение св. Фомы Аквинского о «преизобильном духовном сокровище», *thesaurus super – rogationis erogationi*, накопленном в Церкви заслугами Христа и всех святых и достаточном для покрытия всех грехов человечества, бывших и будущих. [206]

К «Банку Духа Святого» руку свою приложил и настоящий банк, богатейший дом фуггеров (*Fugger*). [207]

Князь-избиратель Майнцский, Альберт Гогенцоллерн, юноша двадцати четырех лет, хотел проглотить слишком большой кусок, так что едва не подавился им, никогда невиданным и всем церковным канонам противным совместительством трех священных санов – три на голове соединенные митры: одну, епископскую Гальберштадтскую, и две архиепископских, Майнцскую и Магдебургскую. Чтобы сделать это, пришлось ему заплатить 24 000 дукатов: 10 000 – папе за архиепископский крест и 14 000 – на взятки сановникам Римской курии. Деньги это – 30 000 круглым счетом – занял у фуггеров, но как расплатиться, не знал, если бы не предложил ему папа выгодную для них обоим сделку: денежный сбор, полученный за новую, только что объявленную продажу Отпущений, разделить пополам – одну половину папе, а другую – Альберту. [208]

Рыбу ловил во всей этой мутной воде главный проповедник Отпущений, доминиканский монах, Иоганн Тецель (*Teztzel*), темный проходимец, осужденный за прелюбодеяние на вечную тюрьму, но оправданный и возведенный папой в должность сначала апостольского инквизитора, а потом и главным комиссаром по делам Отпущений. [209]

«Тра-та-та-та-та» – били барабаны все ближе и ближе. Люди бежали по улицам Юттербока (*Jutterbock*), соседнего с Виттенбергом городка, навстречу входившему в городские ворота торжественному шествию, с крестами, знаменами, хоругвями, горящими свечами и дымящимися кадилами. Старенький, седенький священник, с трясущейся головой, с детски добрым лицом и ангельски чистыми глазами, старейший почетный каноник Юттербокского соборного капитула, шел впереди шествия и нес, с таким благоговением, как

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)

Св. Причастие, папскую буллу о великом Отпущении грехов (*Indulgentia plenaria*), на подушке алого бархата, под золотой парчой. Медленно двигалось шествие под оглушительный трезвон колоколов, радостные крики народа, пение церковных молитв, стук барабана и, выйдя на площадь, вступило в собор, где перед самым жертвенником поставлен был высокий темно-красный, точно из запекшейся крови слепленный, крест, украшенный папским гербом и осененный папским знаменем, с тканьем по голубому шелку, золотыми ключами св. Петра. Слева от креста стояла очень большая круглая, наподобие барабана, железная кружка, со многими замками, печатями и с узкою, в верхней крышке, для вкладывания денег, щелью, а справа – маленький, походный, точно такой же, как у путешественников менял, скатертью зеленого сукна накрытый столик, с кипой пергаментных листов Отпущений – лавочка двух банкирских домов – св. Петра Нищего и Иакова Фуггера Богатого. [210]

Тут же, у столика, сидел уполномоченный от банка Фуггеров, проверявший получаемый сбор счетовод, а к медному распятию над столиком подвешен был пергамент листа, тоже с папским гербом и печатью, – список грехов и цен за отпущение: содомия – двенадцать дукатов, святотатство – семь, колдовство – шесть, отцеубийство – четыре, а за меньшие грехи и цены меньше; четверть флорина – самая дешевая. [211]

«Во имя Отца и Сына и Духа Святого! – начал, взойдя на кафедру, глухим, но всей церкви внятном, потрясающим голосом, в белой доминиканской рясе монаха, с иконописным лицом, папский комиссар, Иоганн Тецель. – Знай весь христианский народ, что ныне здесь у тебя Рим и что церковь эта есть Церковь св. Петра, и этот крест имеет точно такую же силу, как тот, на котором был распят Христос... Братья мои возлюбленные, бодрствуйте, ибо не знаете часа, когда хозяин дома придет. Поспешайте же, поспешайте, не медлите приобретать отпущения грехов за малую цену – четверть флорина, четверть флорина всего... Отправляющийся в дальний путь отдает деньги в банк, чтобы по доверительному письму, за пять-шесть процентов получить из банка в чужой стране столько денег, сколько в письме на получение вечного блаженства? Вот они, вот – спасительные пропуска; с ними же юдоль плача пройдете и войдете в рай сладости, – указал он на походный столик с кипой пергаментных листов у подножия креста. – Вся благодатная сила страстей Господних заключена в каждом из них, и так велика эта сила, что не только живых, но и мертвых спасает... Слышите ли, братья, голоса родных ваших, возлюбленных, вопиющие к вам из пламени Чистилища: „О, пожалейте нас, пожалейте, освободите, ибо мучаемся мы в пламени сем... Жжет! Жжет! Жжет!“»

В страшно искаженном лице и в голосе выразил он такую муку, что маленькие дети заплакали, старики и старушки заохали. Но вдруг, подмигивая, прищелкивая пальцами и притоптывая ногами, он запел:

Ding-ding-dong! Ding-ding-dong!

Динь-динь-дон! Динь-динь-дон!

В кружке денежка звенит –

К небу душенька летит!

So bald das Geld im Kasten klingt,

Die Seele aus dem Fegefeuer spring!

И плакавшие дети затихли, старики и старушки утешились. Долго еще говорил, все бесстыднее, потому что чувствовал, как опытный проповедник и балаганный шут, что овладел толпой окончательно и мог делать с нею, что хотел. «Я обладаю, – говорил, – большою властью, чем апостол Петр, потому что спасаю Отпущениями моими большее множество лиц, чем Петр... Сила Отпущений такова, что могла бы спасти и того, кто обесчестил бы Пресвятую Деву Марию». [212]

Люди слушали жадно, широко раскрыв глаза и разинув рот, точно прикованные к устам его, и, что бы ни сказал он, верили всему. Только немногим, более просвещенным или просто более разумным людям в этой толпе было тошно, стыдно и страшно. Старенькому священнику, который давеча нес впереди шествия папскую буллу о великом Отпущении, было тошнее, страшнее всех. Сила нечистая, казалось ему, ворвалась в Церковь и осквернила ее, точно шабаш ведьм справлялся в ней, как на Брокене, и Черная Обедня совершалась там, где столько лет служил он Святую Обедню. Мерзостные чудеса происходили перед ним, как на шабаше ведьм; проповедник на кафедре, в белой монашеской рясе, оборачивался вдруг то кривляющейся обезьяной, то самим дьяволом, и слышалось ему то козлиное бляение, то свиное хрюканье. Он хотел закричать, но отнялись ноги, как в страшном сне.

Проповедь кончилась. Люди подходили к денежной кружке у подножия креста.

«Вкладывай! Вкладывай! (Impone! Impone!)» – восклицал торжественно стоявший у кружки монах. Люди кидали в щель ее деньги и получали отпустительные грамоты, украшенные папским гербом, с одной стороны, и, пронзенной гвоздями, Иисусовой дланью – с другой.

«Властью, данной мне от Господа нашего, Иисуса Христа, от блаженных Апостолов Его, Петра и Павла, и от Святейшего Господина нашего Папы... разрешаю и отпускаю тебе все грехи твои, как бы они ни были велики, и восстанавливаю тебя в той чистоте и невинности, какую имел ты, когда крещен был в младенчестве, да закроются пред тобою врата адовы, и двери неба да откроются... Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь», – сказано было в каждой грамоте, за подписью брата Иоганна Тецеля.[213]

Падали, падали монеты в денежную кружку-барабан, и в протяжном звоне их слышалась старенькому священнику веселая песенка Тецеля:

Динь-динь-дон! Динь-динь-дон!

В кружке денежка звенит –

К небу душенька летит!

Черная, узкая щель в крышке барабана, у подножия креста, казалась ему смеющимся дьявольским ртом. И как будто возвещая поход Силы Нечистой на весь крещеный мир, сначала где-то далеко на площади, а потом все ближе и ближе, потом в самой церкви, бил другой барабан: «Тра-та-та-та-та!»

12

«Я пробью его барабан!» – сказал Лютер, услышав впервые о Тецеле в 1516 году, и как сказал, так и сделал.[214]

Зная, с какой презрительной усмешкой сановники Римской церкви называют казну, собранную за Отпущения в Германии, «немецкими грехами», [215] и памятуя старую поговорку умных людей: «Если Рим недалек, дальше прячь кошелек», князь-избиратель Саксонский, Фридрих Мудрый, запретил продажу Индульгенций в своих владениях.[216] Но люди из Виттенберга сбегались толпами в находившуюся по ту сторону границы юттербокскую лавочку Тецеля. Лютер знал об этом, и можно судить о том, что он чувствовал, по таким намекам в тогдашних проповедях его, как этот: «Слово „indulgere“ (отпускать) по-латыни значит то же, что *permittere* (позволять); следовательно, „отпущение“ грехов есть не что иное, как позволение грешить вовсю, ругаясь над Крестом Господним... О, великий ужас века сего! О, спящие пастыри! О, тьма осязательнее тьмы Египетской! О, невероятное перед грозящей гибелью спокойствие!» [217] «Люди ждут, чтобы я заговорил об Отпущении, и я буду говорить о нем, потому что это зло уже стоит у наших дверей... и мой долг остеречь людей от этой опасности».[218]

Но Лютер чувствует, что мало говорить, – надо что-то сделать, а что – не знает. В эти дни он весь, как раскаленная добела, дрожащая на тетиве натянутого лука стрела. Если он ничего не сделает сам, за него сделает кто-то: «Дело Его – мое». Кто лук натянул, Тот и пустит стрелу в цель – в сердце Врага.

31 октября 1517 года, в канун Всех Святых, в полдень Лютер прибил к церковным вратам в Виттенбергском княжеском замке длинный, по-латыни написанный в два столбца пергаментный лист с девяноста пятью тезисами против Отпущений. Гулко стучал молоток, вбивая гвозди в старое дерево церковных врат. «Стучите, и отворят вам» (Матфей, 7:7). Кто в какие двери стучит – Лютер ли только в двери маленькой Виттенбергской церкви? Нет, вместе с ним и совесть всего христианского человечества – в двери великой Римской Церкви. Стуком на стук ответил молоток Лютера барабану Тецеля.

Тезисы Лютера – уже не «парадоксы», не странные необычайные, а самые обыкновенные истины, простейшие чувства и мысли в простейших словах – почти общие места. Но не в произносимых словах, а в произносящем их голосе – вечная сила этих тезисов. За каждый из них – сам Лютер, погибавший и спасшийся, десять лет внутренней пытки, весь ужас гибели и вся надежда спасения – за каждым из них. «Будь у меня и сто голов, я согласился бы лучше дать их отрубить одну за другой, чем отречься хотя бы от одного из моих тезисов!» [219]

«Вечному осуждению подвергаются те, кто учит, и те, кто верит, будто бы Отпущением грехов люди спасаются».[220] Этим тезисом (32-й) выражается

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
лучше всего общий и главный смысл остальных.

Крайнее зло Отпущений заключается для Лютера в том, что самое внешнее, мертвое – купленное за деньги прощение греха – здесь преобладает над самым внутренним, живым – покаянием. «Истинно во грехе кающийся хочет пострадать за грех и любить страдание, между тем как Отпущение освобождает от страдания – и внушает ненависть к нему»[221] (20-й тезис). Когда Христос говорил людям «Покайтесь!», то хотел, чтобы вся их жизнь была покаянием. «Истинное, внутреннее покаяние продолжается до вступления человека в Царство Небесное». [222] «Истинное сокровище Церкви – Евангелие... но большинству людей ненавистно оно, потому что в нем последние делаются первыми». «Сокровище Евангелия – сеть, которую некогда улавливались люди, преданные богатству. Сокровище же Отпущений – сеть, которую улавливаются ныне богатства людей»[223] (Тезисы, 62–66).

Внутренний опыт Лютера – то, чем спасся он сам, и чем будет спасать других, – выражен лучше всего в четырех последних тезисах: «Прокляты – да будете... говорящие людям „Мир, мир“, между тем как нет мира».

«Благословенны... да будут... говорящие людям „Крест, крест“, между тем как нет креста». Это значит: для того, кто принял смерть с Распятием на кресте, нет смерти, а есть вечная жизнь – Воскресение.

«Должно учить христиан идти за Христом, Вождем своим, через муку смерти и ада, а не успокаиваться в безопасности ложного мира»[224] (Тезисы, 92–95).

Два чувства борются в Тезисах – внешняя покорность церковным властям как установлениям божественным и внутреннее возмущение, восстание на тех, кто сделал из церкви «монетную лавочку», «банк Духа Святого», «где каждый день продается Христос». Лютер как бы выгораживает Папу, оправдывает его, но делает это сознательно или бессознательно, так что эти оправдания хуже всех обвинений.

«Утверждать, что если бы апостол Петр был в наши дни Папою, то не мог бы даровать людям большей милости, чем Отпущение, значит хулить ап. Петра и Папу».

«Утверждать, что крест с папским гербом равен Кресту Господню, значит богохульствовать»[225] (Тезисы, 76–77).

«Проповедь Отпущений так неосторожна, что и ученым богословам трудно честь Папы защищать не только от клеветы, но и от таких лукавых вопросов мирян, как эти: „Почему Папа не освобождает все души из Чистилища даром по святому чувству милосердия, а делает это за деньги?“»[226] (Тезис 82). «Почему Папа, богатейший из всех людей, строит базилику Св. Петра на деньги бедных людей, а не на свои собственные?»[227] (Тезис 86).

«Надо убеждать христиан, что Папа... роздал бы все, что имеет, и продал бы, если нужно, базилику Св. Петра на нужды тех, у кого проповедовавшие Отпущение выманивают последние гроши»[228] (Тезис 86).

«Всем этим... мы не хотели сказать и, полагаем, не сказали ничего противного учению Святой Католической Церкви», – мог бы заключить Лютер и эти Тезисы 1517 года – простейшие мысли в простейших словах, почти общие места – так же, как те «Парадоксы» 1516 года, «странные, необычайные истины». Но легче было бы Риму сжечь Лютера, чем ему ответить.

13

Месяца не прошло, как Тезисы распространились не только по всей Германии, но и по всей Европе, «как будто Ангелы Божии разнесли их повсюду». [229] Если дух захватывается от волнения у тех, кто читает их, то потому, что они видят в них решающиеся судьбы мира, маленького и большого, Давида и Голиафа, почти никому не известного, из Тюрингского захолустья, бедного монаха и владыку христианского мира, Папу.

Действием Тезисов был удивлен и испуган сам Лютер больше всех. «С трепетом и ужасом смотрел я, бедный монах, на это дело мое. Я кинулся в него, очертя голову и не рассчитав последствий... Я неосторожно восстал на Папу, которого до тех пор чтил благоговейно». «Я был почти мертв для мира, когда, по воле Божьей, Тецель вызвал меня на бой». [230]

Страшное слово о мельничном жернове на шее соблазителя, может быть, повторялось в эти дни устами Лютера не только о папе Льве X, но и о многих бывших и будущих папах. Древнее слово «skandalon» (Лука, 17:1) значит «соблазн», почти в том же смысле, как наше новое слово «скандал». Это надо помнить, чтобы понять, что переведенные на все языки и едва лишь отпечатанные, свежими чернилами пахнущие, как бы уже первые газетные листки наших дней, которые разносят по миру не только веления Ангелов гнева Божия, с глухо гремящими золотыми трубами, но и маленькие бесенята «соблазна» – «скандала» – с пронзительно звонкими глиняными свистульками. Если «Ангелы» – из Виттенберга – Вифлеема, где новое, вопреки всем отступлениям, все-таки христианское человечество рождается, то «бесенята» – из Рима, где ветхое, уже нехристианское человечество умирает.

«Нас, германцев, за скотов почитают в Италии (Italia heisst uns Bestias)», – скажет Лютер по поводу все тех же Индульгенций.[231] О, с каким упоением «соблазна» должны были читать эти германские «скоты» простейшим людям понятный и для ученейших богословов неотразимый тезис Лютера о новой базилике Св. Петра, земном владычестве пап, строящемся «на человеческой крови и костях».

Лютер поднял руку вовсе не на Льва X, а на того, кого считал злейшим врагом его, – на гнусного, римского «бога-диавола». Но римский Первосвященник подвернулся под руку его нечаянно, или враг подставил его нарочно, и раздалась такая звонкая пощечина по лицу Его Святейшества, что услышал весь христианский мир. Святая пощечина, потому что кое-кто из людей все еще радуется свято, когда наконец, хоть один раз на тысячу лет, заглушается не распинаемая истина, а распинающая ложь. Тот удар железной рукавицей Киары Колонна по лицу папы Бонифация VIII был ничто перед этим – голою ладонью Лютера – по лицу Льва X. Как бы чешуя великого Дракона, древнего Змия, треснула, хрустнула под огненным копьем Михаила Архангела, со звуком этой пощечины, таким сильным, что, кажется, он до наших дней все еще стоит в воздухе и, может быть, будет стоять до первого звука последней трубы, которой возвестится страшный суд Божий над миром и Церковью.

Но вот что удивительно: сам папа Лев X не почувствовал удара, может быть, потому, что его самого и не было вовсе там, куда пал удар, а была только ловко под него все тем же Врагом подставленная кукла с деревянным или картонным лицом Папы (от этой пустоты – и звонкость удара) – с пустой маской, такую крепкую, что никакого следа от пощечины не осталось на ней, разве только чуть-чуть покривилась набок перехваченная сусальным золотом тиара, но это было незаметно для распростертой ниц перед куклоу бесчисленной толпы, а бывший за мертвую маску живой человек, Лоренцо Великолепный, великолепнейший сын Джованни Медичи, великий язычник и словесник из тех, которых Св. Иероним называет «не христианами, а Цицеронами», покупающий за драгоценности древнегреческие рукописи, Гомера, Софокла и Платона, строитель новой базилики Св. Петра, покровитель Рафаэля и Микель-Анджело, находился в слишком ином порядке бытия, чтобы сразу понять, что значила для того, кем он был ряжен, – для папы Льва X – пощечина Лютера.[232] «Тезисы и это писание пьяного немца – протрунить и образумить!» – ответил Папа тем, кто советовал ему принять скорейшие меры против взбунтовавшегося монаха-еретика.[233]

В Риме вообще начали понимать, что происходит у «германских скотов», не столько из доноса Святейшей инквизиции на новую «ересь», сколько из жалобы Майнцского архиепископа Альберта на то, что плохо идут денежные сборы за Отпущения по всей Германии; после Лютеровых Тезисов сразу узнали и еще яснее поняли это из отчетов банкирского дома Фуггеров, потому что сановникам Римской Церкви, дельцам «Банка Духа Святого», удар по карману был чувствительнее, чем удар по лицу. Римская волчица ошетилилась и оскалила зубы, когда у нее хотели отнять полуобглоданную кость – Германию.

«Месяца не пройдет, как этот еретик (Лютер) будет сожжен!» – предсказывали опытные богословы из Братства Св. Доминика,[234] а проповедник того же Братства, Иоганн Тецель, бедный балаганный шут с «проткнутым барабаном» и пронзенным сердцем, разложил большой костер под стенами Франкfurта-на-Одере, произнес анафему «еретику» и бросил Лютеровы Тезисы в огонь. Что это значит, поняли все: сначала в огонь сочинение, а потом и сочинителя.[235]

«Я могу заблуждаться, но еретиком не буду никогда (Errare quidem potero,

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
sed haereticus non ero)». [236] «Только смиренное послушание есть настоящая праведность (Justitia est solum humilis oboedientia)». [237] «Лучше быть послушным, чем вторить чудеса». Это мог сказать Лютер в те дни по чистой совести; это он и скажет через полгода после виттенбергских Тезисов сначала наместнику Братства своего, Иоганну Штаупицу, а потом и самому Папе. «Я готов подчиниться Римскому Первосвященнику, как самому Христу (Christum exrecto iudicem e Romano sede pronunciantem)». [238] «Падая к ногам твоим, Святейший Отец, я предаюсь тебе со всем, что я есмь, и со всем, что имею. Дай мне жизнь, или отними ее; оправдай, или осуди, как тебе будет угодно. Если я заслужил смерти, то не отрекаюсь умереть... Да хранит тебя Господь во веки веков. Аминь». Но в том же покорном письме есть и эти все решающие слова: «Я не могу отречься (Revocare non possum)». [239] Не может отречься ни от одного из девяти пунктов Тезисов, ни даже от этого – о данном римскому Первосвященнику «власти ключей (potestas clavium)» св. Петра, отпирающих и запирающих двери Неба. «Тю же властью, как Папа, обладает... всякий епископ в епархии своей и всякий священник в приходе своем» (Тезис 25). [240] А в этом-то именно тезисе и был корень «ереси» – умаление безграничной власти Папы над миром и Церковью. Это хорошо понимали опытные богословы – политики Римской Курии, но призрачный папа Лев X, действительный гуманист, Джованни Медичи, этого не мог понять, и даже мнение свое о «пьяном немце» изменяет к лучшему, может быть, внимательней вчитавшись в Тезисы Лютера: «Брат Мартин – человек остроумный. Кажется, за всем этим делом нет ничего, кроме монашеской зависти!» – отвечал он на все остережения тех, кто уже понял, что дело Отпущений – только первая малая искра, от которой может вспыхнуть великий пожар. Кажется, Папе все еще было неясно, кто раздувает пламя пожара – «остроумный человек», Лютер, или тупоумные враги его, «завистливые монахи», те, кто хотели сжечь его на костре.

Но следствие по делу Лютера уже началось в Римской палате церковного суда (Camera romana), и в феврале 1518 года, следовательно месяца через три по обнаружении Тезисов, Папа, вынужденный дать ход этому делу, пишет в Германию только что избранному главному наместнику – генералу Августинова братства: «Должно усмирить этого человека (Лютера)... Если ты будешь действовать поспешно, то, полагаю, будет легко потушить пламя пожара». [241] В этом Папа ошибся вместе с опытнейшими политиками Римской Церкви: пламя потушить будет очень трудно. «Главное, что повредило Папе, было мое ничтожество», – вспомнит Лютер уже в огне пожара. «Мне ли, низложившему стольких великих царей, бояться этого несчастного монаха?» – думал Папа беспечно; «...но если бы он знал, как я для него опасен, то легко задушил бы меня в самом начале». [242]

7 августа 1518 года Лютер получил вызов на суд в Риме, куда должен был явиться, под угрозой отлучения его от Церкви, в двухмесячный срок. Старый император, Максимилиан, обещал исполнить вооруженной силой (manu militari) приговор церковного суда над Лютером, так же как надо всеми, кто в деле Отпущений восставал на власть Римской Церкви. Не было никакого сомнения, что Лютера ждет в Риме смертный приговор.

14

Может быть, не случаем, а тем, в чем св. Августин видит «управляющий всем Тайный Порядок» – Божий Промысел, – были посланы Лютеру, в самые роковые для первой половины жизни его, два Ангела Хранителя: один для души – учитель его, Иоганн Штаупиц; другой для тела – государь его, Фридрих Мудрый. Будучи добрым католиком и веря в силу Отпущений так же просто, как все простые люди верили в нее, Фридрих не понимал, почему Лютер восстал на Отпущения. Но прозвище «Мудрого» дано было Фридриху недаром: сам рыцарски честный в делах государственных; чувствовал он, что и Лютер в деле веры так же честен и прям. Выдать невинного человека злейшим и, может быть, бесчестным врагам его на верную смерть казалось ему низостью, да и любимое детище свое, Виттенбергский университет, лишить такого светила, как Лютер, он ни за что не хотел. «Нет народа более презираемого в Европе, чем немцы [243] – Es ist keine mehr verachtete Nation, denn die Deutschen», – мог сказать бы и Фридрих вместе с Лютером. Делаясь его защитником, восставал он за поруганную честь всей Германии.

Слишком важно было для римской церковной политики, кто будет избран наследником Священной Римской империи, а голос князя-избирателя Фридриха, старейшего и наиболее почитаемого изо всех германских государей, имел в этом деле слишком большую силу, чтобы Римская курия могла не считаться и в

суде над Лютером с волею Фридриха. Вот почему Папа или те, кто стоял за его спиной, вынуждены были согласиться на просьбу князя-избирателя, чтобы Лютера вызвали на суд не в Рим, а в Аугсбурге, где на Собрании государственных чинов Германской империи, так называемой «Диэты», решались два великих, все умы волновавших, вопроса – об избрании наследника престарелого императора Максимилиана и о крестовом походе на Турцию. Папскому легату, кардиналу Кайэтану (Cajetan), присутствовавшему на собрании, поручено было дело Лютера. [244]

Фридрих выхлопотал для него у императора обещание охранного листа, но, еще не зная об этом, друзья Лютера боялись, что Аугсбург будет для него немногим безопаснее Рима, и страх этого еще увеличился, когда узнали, что папскому легату ведено было или добиться того, чтобы Лютер отрекся начисто от всех своих «еретических» Тезисов, или, схватив его с помощью обещанной императором Максимилианом вооруженной силы, задержать пленника до отправления на суд в Рим. «Ибо пастырский долг наш, – сказано было в послании к легату, – велит нам противиться тому, чтобы эта чума, возрастая, заражала души простых людей». [245]

Зная, что не отречется ни в коем случае, Лютер был почти уверен, что ему не миновать костра, и, как тяжелобольной читает в смотрящих на него с жалостью глазах близких людей свой смертный приговор, так и он читал. «Кажется, весь мир восстал сейчас на истину, – писал ему в эти дни Штаупиц. – Ненависть у этих людей такая же, как та, что привела Иисуса на крест. Кажется, и тебе, мой сын, не должно ожидать ничего иного. Мало у тебя друзей, да и те, какие есть, по углам от страха прячутся... Всеми покинутые, последуем же за Тем, кто покинут был всеми». [246]

Лютер знал и сам, на что идет. Но мужество его росло вместе с опасностью. «Я, по слову пророка, человек смуты и разделения, – говорил он в эти дни друзьям своим. – Я только бедный грешник, но, может быть, и мне скажет Иисус, как Павлу: „Я покажу тебе, как много должно тебе пострадать за имя Мое“. Если бы не так, то зачем Он поставил меня на служение Слова своего как человека сильного и непобедимого».. «да будет же Его святая воля! Чем больше грозят они, тем больше я радуюсь». [247] «да здравствует Христос, да погибнет Мартин Лютер!» [248]

«Ах, дорогой доктор, вас все-таки сожгут!» – остерегал его перед самым отправлением в Аугсбург брат-эконом Виттенбергской обители.

«Нет, разве только обожгут крапивой; огнем было бы слишком жарко, – пошутил Лютер, но, помолчав, прибавил, уже не шутя: – Друг мой, помолись Отцу нашему Небесному за меня и за Сына Его возлюбленного, потому что дело мое – Его!» [249]

В первых числах октября 1518 года, вместе с одним братом, Августинским иноком, отправили Лютера в Аугсбург пешком, с котомкою за плечами и с посохом в руках – так же, как некогда в Рим.

«Я знаю, что умру: костер мой уже готов», – говорил он на пути другим; и про себя думая, полумолитвенно, полукошунственно, вдруг воскликнул: «Стыдно будет Богу, если Он меня не спасет!» [250]

15

7 октября вошел он в Аугсбург, где, узнав, что ему обещана охранная грамота императора, подождал ее получения шесть дней, потому что не хотел являться без нее на вызов Кайэтана, чтобы сразу не попасть в ловушку, от папского легата в тюрьму. 12 октября, получив наконец грамоту, пошел к легату. Чин тройного поклонения, такой же как перед самим Святейшим Отцом, исполнил и перед его посланником: сначала стал на колени, потом до земли поклонился и, наконец, весь на полу у ног его распростерся. «*Supplex primo prolapsus in genua, secundo in terram decumbens, tertio plane prostratus*». [251] Добрым знаком сочтено было такое смирение как самим кардиналом, так и его придворною челядью. Трижды, все по тому же чину, велел он ему подняться, но тот поднялся только на колени и так продолжал стоять перед ним, точно наказанный маленький школьник перед грозным учителем.

«Сын мой возлюбленный, – начал Кайэтан с тою отеческой благодатью, с какою умели сановники Римской Церкви и на костер людей посылать, – если хочешь быть помилованным, должно тебе исполнить три повеления Его Святейшества:

первое – от всех твоих заблуждений отречься; второе – никому их больше не проповедывать и третье – мира Церкви не возмущать никогда».

Лютер ответил все так же смиренно, стоя на коленях, что готов подчиниться воле Его Святейшества во всем, но не может отречься от своих заблуждений, если ему не укажут, в чем они заключаются, и об этом умоляет «досточтимого отца своего во Христе».

Будучи весьма учен и болтлив, Кайэтан попался на эту удочку смирения и, думая, что ему легко будет обратить заблудшего на путь истинный, принялся его увещавать, и, слово за слово, начался между ними ученейший спор. Лютер находил для себя опору в Священном Писании, а Кайэтан – в св. Фоме Аквинском и схоластиках.

«Папа имеет безграничную власть надо всем!» – воскликнул в пылу спора Кайэтан.

«Кроме Писания, *Salva Scriptura*», – возразил Лютер с такою твердостью в голосе, что если бы противник его внимательнее вслушался, то понял бы, что эту заблудшую овцу вернуть в лоно Церкви будет не так-то легко.

«*Salva Scriptura!* – повторил Кайэтан, смеясь, и на громкий смех его тихим смехом ответила вся придворная челядь. – „*Salva Scriptura!*“ Точно ты не знаешь, что Папа выше всех Соборов...»

«Нет, досточтимый отец, – воскликнул Лютер, – если бы Папа заблуждался, то обличить его Словом Божиим мог бы не только Собор, но и простой мирянин, потому что не Папа над Словом, а Слово над Папой, как ап. Павел свидетельствует: „Если бы Ангел с неба благовествовал вам иное Евангелие, то будет анафема...“» (Галатам, 1; 8). [252]

Сделалась вдруг тишина, и все почувствовали, что от брата Мартина пахнет дымом костра.

«Отрекись, отречься! *Revoca, revoca*, или ступай вон и не возвращайся, пока не отречешься!» – закричал Кайэтан и затопал ногами в ярости.

«Но эти шесть букв – *Revoca* – в меня не входили. Продолжая стоять перед ним на коленях, я молчал и не отрекался», [253] – вспоминал Лютер.

Этим и кончилось первое свидание. Было еще два – 13 и 14 октября, но с каждым становилось яснее, что они не сговорятся никогда и что Лютер, как он сам потом говорил, «не отречется ни от одной буквы Тезисов своих ни теперь, ни во веки веков». [254]

«Может быть, он и великий знаток Фомы Аквинского, но богословствовать умеет так же, как осел играть на арфе!» – думал брат Мартин о Кайэтане. «Сидя на месте Папы, этот человек требовал, чтобы я соглашался с ним во всем и над Словом Божиим смеялся, когда оно было в устах моих». [255]

«Я больше не хочу говорить с этой скотиной! – решил наконец Кайэтан после третьего свидания и, подумав, прибавил: – У этого человека глубокие глаза и необычайные мысли в голове...» [256] «А кончится все-таки тем, что он лопнет, как мыльный пузырь». [257]

Все эти дни ходили по городу зловещие слухи, что Лютер не сегодня завтра будет схвачен и отправлен пленником в Рим, будто приказ об этом получен Кайэтаном. [258] Слишком хорошо понимает Лютер, что с охранным письмом императора Ян Гус не был спасен от костра, чтобы полагаться на свое охранное письмо. Вот почему решил он послушаться друзей своих, когда те посоветовали ему бежать.

20 октября, ночью, один из друзей, подкупив стражу, вывел Лютера подземным ходом за городскую стену и усадил на заранее приготовленную лошадь. Лютер поскакал во весь опор и к утру уже был далеко от Аугсбурга. [259]

«Когда я бежал оттуда, – вспоминал он, – я был один, покинут и предан всеми – императором, Папой, легатом, иноками Братства моего и собственным государем моим... даже ближайшим другом, Штаупицем». [260] О двух последних он ошибается: они не покинули его никогда.

Было пасмурное утро осеннего дня. Черной змеей, извиваясь под свинцовой сеткой дождя, уходила дорога в беловатую даль унылой равнины с болотными кочками. Страшно худая – кожа да кости – старая, белая кляча, точно апокалиптический Конь Бледный, шлепала по грязным лужам дороги плохо подкованными, звякающими копытами, и ехавший на кляче, такой же худой, как она, великий ересиарх Мартин Лютер, «одержимый бесами и исчадие ада», как назовут его римские католики, напоминал бы тогда апокалиптического Всадника, если бы слишком короткие штаны не поднялись у него смешно и жалко выше мокрых от дождя и от холода посиневших колен и падающие на низко надвинутый на лицо куколь капли дождя не текли по щекам его, как неиссякаемые тихие слезы. [261]

Вспомнил вдруг, как хвалился, едуци в Аугсбург: «Да здравствует Христос, да погибнет Мартин Лютер!» Но вот не погиб, а спасся, бежал с поля битвы, как трус. Что страшнее – внезапное пламя костра или эта медленно убийственная слякоть – вся жизнь такого труса, как он? Вспомнил также переданные ему кем-то слова о нем Кайэтана: «А все-таки лопнет, как мыльный пузырь!» «Да, может быть, и лопну», – подумал, глядя, как дождевые капли лопались на поверхности луж. И еще подумал в первый раз – после того Великого Света, что озарил его, как Павла на пути в Дамаск: «Я не знаю, не отступил ли от меня Бог...» [262]

16

В Риме были недовольны ходом Лютерова дела и обвинили Кайэтана в недостаточной ловкости. Буллой 1518 года подтверждалось торжественно все учение об индульгенции, как будто ничего не случилось ни в Риме, ни в мире; слепота, глухота была совершенная, такая же, как до начала дела. «Римский Первосвященник, наместник Иисуса Христа, – говорилось в булле, – имеет власть даровать отпущения грехов не только живым, но и мертвым в Чистилище, и все верующие должны, под страхом отлучения от Церкви, признавать эту власть». [263] Таково было покушение негодными средствами укрепить пошатнувшуюся лавочку Тецелей-фуггеров, кощунственную торговлю Духом Святым. После этой буллы великая надежда на то, что Рим начнет преобразование Церкви изнутри, была потеряна. [264]

В самом начале 1519 года послан был в Германию для дальнейших переговоров по Лютерову делу личный секретарь Папы, Римской курии нотариус и камергер, молодой саксонский дворянин, Карл фон Милтиц (Miltitz), человек ловкий и вкрадчивый. Князю-избирателю, саксонцу, чтобы задобрить и побудить его выдать «еретика», «сына погибшего, исчадие адово», Милтиц должен был вручить знак папской милости, Золотую Розу, цену Лютеровой крови. Но вместе с тем ему поручено было сделать и новую попытку к соглашению с тем же «исчадием адовым». Лютеров земляк, саксонский дворянин Милтиц, лучше итальянцев понимал, что происходит в Германии. С этим любезным молодым человеком, равнодушным к делам веры и думающим о св. Фоме Аквинском не больше, чем о прошлогоднем снеге, Лютеру легче было сговориться, чем с ученым старцем, богословом Кайэтаном.

«О, мой дорогой Мартин, – говорил в веселых застольных беседах любивший выпить Милтиц, – я думал, что вы – старый богослов, сидящий у печки и любящий спорить, но вот я нахожу в вас человека молодого и сильного, которого я не мог бы увести из Германии даже с войском в двадцать пять тысяч человек!» [265]

Милтиц начал переговоры так успешно, что соглашение казалось возможным. Брат Мартин думал в те дни, и будет думать до конца жизни, что если бы Папа решительно вступил на путь Милтица, то «избегают был бы разрыв и последовавшая за ним великая смута». [266]

«Я мог бы обещать, – писал Лютер князю-избирателю, – во-первых, молчать обо всем этом деле так, чтобы дать ему умереть естественной смертью; во-вторых, написать Его Святейшеству покорное и смиренное письмо, в котором сознался бы в излишней горячности... и наконец, в-третьих, обнародовать послание, в котором увещевал бы всех верующих подчиниться в этом деле Римской Церкви... Милтиц полагает, что всего этого недостаточно, но отречения моего уже не требует... Если и Ваша Светлость находит, что мне следует сделать что-нибудь большее, умоляю мне об этом сказать. Я сделаю все и все перетерплю, только бы не продолжать этой борьбы». [267]

3 марта 1519 года Лютер пишет Папе: «Что мне делать, Святейший Отец?..

Тяжесть гнева вашего я не могу вынести и не знаю, как его избежать. От меня ждут отречения... но оно только унизило бы Римскую Церковь и восстановило бы на нее весь мир, ибо величайшее зло причинили ей враги мои... Они опозорили ее в Германии, проповедуя ребяческие нелепости и покрывая именем Вашего Святейшества все свои гнусности... Я же перед Богом свидетельствую, что никогда не думал ни явно восставать на власть Римской Церкви и Вашего Святейшества, ни тайно ее колебать. Я исповедую во всеуслышание, что власть этой Церкви выше всего и что нет ничего ни на земле, ни на небе, что должно бы ей предпочесть, кроме единого Иисуса Христа, Владыки всего». [268]

Вместе с этим письмом к Папе Лютер писал другу своему, Спалатину, духовнику Фридриха Мудрого: «Папу я почтил без труда, ибо я чту и власть турецкого султана, которую дал ему Бог. Только бы оставили мне Евангелие, и я отдам Риму все остальное». [269]

Папа в ответном послании называет его уже не «сыном погибели» и «исчадием ада», а «сыном возлюбленным», радуется, что он отрекся от заблуждений своих, и снова зовет его в Рим, где ему обещает милость и прощение. [270]

В эти дни предсказание Кайэтана как будто исполнилось: Лютер «лопнул, как мыльный пузырь». Но опять, как столько раз это было и будет в жизни его, происходит то, что кажется «случаем» и что на самом деле есть, может быть, явление «Тайного Порядка, управляющего всем Промыслом»: в самую решительную минуту посылается ему самый нужный человек. Инок доминиканского Братства, канцлер Ингольштадтского университета, знаменитый спорщик, доктор Иоганн Экк (Eck), снова обнажая спрятанный в ножны и оттачивая притупленный меч Лютера, возвращает его в покинутый бой.

«Вот когда начинается борьба беспощадная, да будет она благословенна, – радуется Лютер. – Все прежнее было лишь детской игрой... Сам Господь ведет меня, и я иду за Ним. Я читаю постановления Папы, чтобы подготовиться к спору, и скажу всем на ухо: „Я спрашиваю тебя – кто такой Папа: сам ли Антихрист или только апостол его, потому что в этих постановлениях он распинает Христа“». [271]

17

Диспут между Лютером и Экком назначен был в июле 1519 года, в Лейпциге, в большой палате Плейссенбургского замка, в присутствии герцога Георга Саксонского и множества священников, монахов, аббатов, докторов-богословов и именитых граждан. Диспут продолжался шесть дней, с утра до вечера, забавляя знатных людей, как рыцарский турнир, а простых, как петушиный и кулачный бой. [272]

«Доктор Экк, – вспоминает очевидец, – человек высокого роста... неуклюжий, угловатый... с крикливым голосом плохого трагика или умного глашатая... с лицом, напоминающим мясника или ландскнехта». [273] А Лютер, «изможденный, истощенный трудом и заботами, так худ, что, кажется, можно бы пересчитать все его кости... голос у него звонкий и проникающий в сердце... обращение любезно и ласково, нет в нем ничего унылого или надменного... Как бы ни нападал на него противник, он оставался невозмутимо спокойным». [274]

«Часто он приходит на диспут с пучком свежих цветов и, поднося их к лицу, нюхает». [275] Вместо обычного золотого докторского перстня носит на руке серебряное кольцо с подвешенным к нему на цепочке крошечным сосудцем или коробочкой, где живет, как полагали добрые католики, тот бес, которому он душу продал так же, как доктор Фауст... Стоило ему только произнести заклинание, чтобы вылетел свистящим вихрем из той коробочки бес и сделал все, что ему будет приказано Лютером. [276]

«Сам действует бес! (Da wält der Teufel!)» – говорил о Лейпцигском диспуте Иоганн Тецель. [277]

Спор между двумя станами – теми, кто был за доктора Экка, и теми, кто был за доктора Лютера, – начинался в палате замка, продолжался на площадях и улицах, в гостиницах и питейных домах, так горячо, что дело иногда доходило до драки, и городской магистрат вынужден был посылать стражников с пиками и алебардами, чтобы наблюдать за порядком или разнимать дерущихся. Один старичок богослов, обличая Лютера в ереси, спорил так яростно, что с ним сделался удар, и он тут же на месте умер. [278]

Если бы доктор Экк, утверждая безграничную власть Папы над миром и Церковью, был до конца последователен, то вынужден был бы согласиться с тем, что утверждал один из первых судий Лютеровых тезисов, доминиканец Сильвестр Приэрий (Prieries): «Папа судит всех, а его – никто, и, если бы даже привел он людей к вратам ада, никто не мог бы его низложить». [279] И с умирающим – бессмертным Тецелем вынужден был бы согласиться доктор Экк: «Сам Господь Иисус Христос, отдав всю власть свою Папе, уже не правит Церковью; правит ею и будет править до конца мира только Папа... Выше всех Апостолов, Ангелов, Святых, выше самой Пресвятой Девы Марии – он, потому что все они меньше Христа, а Папа равен Ему». [280]

«Если геометр спорит с геометром, то это благородный спор: вот почему я люблю спорить с Лютером», – вспоминает Экк о Лейпцигском диспуте. [281] В этом споре впервые поставлен был, с ясностью, в самом деле «геометрической», тот вопрос, которому суждено было сделаться движущей осью всего Протестантства-Реформации: кто видимый, присутствующий на земле, в веках и народах, глава Вселенской Церкви – папа или Христос? Доктор Экк, вместе со всю Римскую Церковь, отвечает: «папа». Лютер вместе со всем «Протестантством» – «Противлением», «Восстанием» человеческой совести против того, что религиозно-бессовестно, отвечает «Христос». «Церковь может быть и без папы; чтобы сохранить единство свое, нуждается она только в одном Главе – Иисусе Христе... Не сказано ли Им самим: „Се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь“». [282]

«Есть в учении Гуса... нечто согласное с учением Евангельским... чего не может Церковь осудить, а именно то, что должна существовать единая Вселенская Церковь!» – воскликнул Лютер в конце спора. [283] Это значит: единой Вселенской Церкви сейчас нет, потому что не может быть одна из двух церквей – западная или восточная; церковь Вселенская будет.

«Ах, чтобы тебя чума задушила! (Da walt die Sucht!)» – выругался в наступившей вдруг тишине, может быть, сам не зная, от негодования или восхищения, хозяин ученого пира, герцог Георг, глядя, как подвешенная к волшебному перстню Лютера маленькая коробочка с бесами, качаясь на цепочке, поблескивала сквозь пучок алых гвоздик и желтых лютиков. И после мгновенной тишины «сделался великий шум в собрании», – вспоминает очевидец – шум падающего Рима – мира. [284]

18

Доктор Экк, посылая в Рим весть о том, что он называл своей «победой» над Лютером, умолял о скорейшем над ним приговоре. [285] Но опять, по воле «случая» или «управляющего всем Тайного Порядка» – «Промысла», в самую нужную минуту происходит самое нужное для Лютера событие – избрание нового императора Священной Римской Империи, Карла V. Больше всего обязан был Карл избранием своим главе семи великих князей-избирателей, Фридриху Мудрому, что усилило его и возвысило в глазах не только всей Германии, но и всей Европы, а сила Фридриха была и силой Лютера. В эти дни он мог чувствовать себя за государем своим как за каменной стеной. Папа или те, кто стоял за его спиной, присмирели и голоса понизили, а Лютер осмелел и возвысил голос.

Римская курия вынуждена была теперь, после Лейпцигского диспута, еще в большей мере, чем тогда, перед Аугсбургской Диетой, считаться в деле взбунтовавшегося монаха с волей его могущественного защитника, Фридриха. Вот почему дело это затянулось. Только через полгода после диспута, 9 января 1520 года, Папа решает возобновить суд над Лютером, и еще через полгода, 15 июня, была обнародована в Риме булла *Exsurge Domine*, об отлучении Лютера от Церкви в том случае, если он через шестьдесят дней не явится в Рим, чтобы торжественно покаяться и отречься от всех своих «ересей». Буллу сочинял кардинал Аккольти (Accolti), такой же гуманист, как и сам папа Лев X, подражая речи Цицерона «О знаменьях» («*De signis*»), где заклиная все олимпийские боги свидетельствовать против нечестивого Верра (Verres), «святотатца и алтарей осквернителя», [286] Лютер обличается буллой в сорока одной «ереси», между прочим, в таких, как эта: «Духу Святому противно сжигать еретиков». [287] Если это «ересь», ложь, то истина для Римской Церкви – то, что «еретиков сжигать согласно с Духом Святым». Можно судить по этой «ереси» Лютера и обо всех остальных.

Первая весть об его отлучении от Церкви потрясла не только всю Германию, но всю Европу. Многие благочестивые люди, даже из римских католиков, в

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
северных городах Германии, были так возмущены, что рвали буллу на клочки, на площадях и улицах.[288] Даже к вере почти равнодушный Эразм, предвидя открытое восстание всех христианских народов, советовал Риму отказаться от буллы, признать ее «подложной».[289]

«Я посмеюсь над ней, как над мыльным пузырем!» – воскликнул Лютер, когда прочел буллу. Так предсказание Кайэтана не исполнилось. «Лопнул, как мыльный пузырь», во всяком случае, не Лютер, а кто-то другой.

«Жребий брошен, – писал в эти дни Лютер Спалатину, духовнику Фридриха Мудрого. – Я презираю ярость и милость Рима; я не помирюсь с ним во веки веков; наступил конец смирению». «Прощай, Рим распутный и богохульный!»[290]

«Кто бы ни сочинил эту буллу, она – сплошное богохульство», – писал Лютер в послании к Папе. «Папа Лев, кардиналы и вы все, имеющие в Риме власть, я объявляю и говорю вам прямо в лицо: если эта булла исходит от вас, то я, дитя Божие и сонаследник Иисуса Христа, опираясь на скалу веры и не боясь ада, увещаю вас прийти в себя и прекратить кощунство... Если же этого не сделаете, то знайте, что я и все Христовы служители почитаем ваш первосвященнический престол сидищем Сатаны и Антихриста, коему мы не хотим подчиняться... и просим вас никогда нас не прощать, но довершить над нами ваше кровавое дело».[291]

«Я теперь несомненно уверен, что Папа – Антихрист», – пишет Лютер одному из друзей и учеников своих 11 октября 1520 года, после получения буллы в Виттенберге.[292]

Людям наших дней, в том числе и кое-кому из верующих, или как будто верующих, пришествие Антихриста кажется нелепым вымыслом темных веков. Что это пришествие предсказано Самим Основателем христианства с наибольшей возможностью точности религиозного опыта –

Я пришел во имя Отца Моего, и вы не принимаете Меня, а если иной придет во имя свое – его примете (Иоанн, 5:43), – это забывается людьми наших дней, или понимается так, что остается для веры их бездейственным, и в голову не приходит им вопрос: почему воплощение абсолютного Зла – дьявола, в определенной исторической личности Антихриста, – менее вероятно, чем бывшее воплощение абсолютного Добра, Бога, и в такой же определенной исторической личности Христа? Думая, что можно и должно верить в личного Бога, но в личного дьявола верить нельзя, люди эти хотят быть учение и благочестивее Того, Кто в начале мира «видел сатану, упавшего с неба, как молния», а в конце мира видел Антихриста. В религиозном опыте Зла как начала личного – дьявола в мистории, Антихриста в истории – люди средних веков, так называемых «темных», а сегодня, и в самом деле, таких, были, может быть, все-таки просвещеннее, потому что были ближе к единственному источнику Света, чем люди наших дней.

Чтобы понять как следует, что значит для Лютера и всего начатого им религиозного движения этот действительный или мнимый религиозный опыт – «Папа – Антихрист», – надо помнить, что делающий этот опыт человек живет, как земная амфибия, в двух стихиях: верхней, сознательной половине души, в светлом воздухе новых времен, а нижней, бессознательной – все еще в темных водах средних веков, где подлинный религиозный опыт погребен иногда под чудовищными, сумасшедшему бреду подобными суевериями, как золотая руда под каменными глыбами, – больше всего именно здесь, в познании абсолютного Зла как начала личного – дьявола.

«Папа – Антихрист» – это для Лютера не отвлеченный богословский опыт, а такой же до мозга костей леденящий ужас, как тот, что испытывал он в детстве, когда маленького брата его «сглазила» ведьма-соседка. Страх Нечистой Силы, тяготевший на нем тогда, будет тяготеть до конца жизни. «Я не знаю, кто такой Папа, – сам ли Антихрист или только апостол его», – шепчет он на ухо друзьям своим и заметно бледнеет, как в детстве под «дурным» ведьминым глазом. Сила бесовских чар действительна, а потому колдунов и ведьм надо сжигать на кострах, – в этом Лютер так же не сомневается, как те, кто его самого хотели бы сжечь.[293]

Новая, освобождающая вера его над старыми, поработавшими суевериями, – как солнечно-золотое облако над черными скалами Брокена; солнце заходит, наступает ночь, и на лысом темени Брокена начинается шабаш ведьм, где,

может быть, и доктор Лютер, вместе с доктором Фаустом, кое-что узнает о гнусно-веселых играх дьявола.

«Дьявол может похищать грудных детей в первые шесть недель по рождении; подкидывая, вместо них, бесенят, называющихся по-латыни *suppositi*, а по-немецки – *Kilkröpf*», – сообщает доктор Лютер в одной из «Застольных бесед» своих, «*Tischreden*», может быть, уже слегка подвыпивши. «Лет восемь тому назад, в городе Дессау, я сам видел... такое подкинутое дьяволом дитя... оно было так прожорливо, что ело за четырех здоровых молотильщиков; но когда прикасались к нему, кричало, как бесноватое, и, если беда была в доме, смеялось и радовалось, а если все шло хорошо – плакало. „Я бы утопил его в реке, не боясь убийства“, – сказал я бывшему тогда со мною герцогу Ангальштадскому».

И помолчав, и выпив еще, продолжал, может быть, с тем же упоительно-страшным весельем, с каким пляшет Фауст на шабаше ведьм с той хорошенькой голенькой девочкой-ведьмой, у которой красная мышка во рту: «Близ города Гальберштадта, в Саксонии, был человек, имевший килькропфа. Все молоко не только матери своей, но еще пяти женщин высасывало это дитя и, не довольствуясь тем, пожирало все, что ему давали. Кто-то посоветовал отцу совершить паломничество в город Голькельштадт, чтобы посвятить младенца Пресвятой Деве Марии. Так он и сделал: понес дитя в корзине, но, когда переходил через реку по мосту, другой дьяволенок, бывший в реке, закричал: „Килькропф! Килькропф!“ И дитя в корзине, не говорившее до той поры ни слова, ответило: „Го-го-го!“ А речной дьяволенок спросил его: „Куда идешь?“ – „В Голькельштадт, к Пресвятой Деве Марии, чтобы меня убаюкали“, – ответило дитя из корзины. Тогда испуганный крестьянин бросил в реку корзину с младенцем, и тотчас же залетали над рекой два дьяволенка, крича: „Го-го-го!“ И, перекувырнувшись в воздухе несколько раз друг через друга, исчезли». [294]

Может быть, Лютеру кажется иногда, что такой же точно «дьяволов подкидыш», «Килькропф» Святой Матери Церкви – и «Папа-Антихрист»; также ненасытно-прожорлив и он; так же несут его глупые люди, по глупому совету, к Пресвятой Деве Марии, «чтобы Она его убаюкала», и дело, может быть, кончится так же: Папа-дьявол в церковной корзине соединится с Императором-дьяволом в реке – в миру, и, «перекувырнувшись друг через друга», рассеются в воздухе.

Все это кажется людям наших дней смешным и нелепым, как бред, но ведь и всегда чужой бред кажется нелепым и смешным; надо самому забыть в жару лихорадки, чтобы понять, как смешное может быть страшным и нелепое – вещим.

19

Ранним утром 10 декабря 1520 года, на Эльстерском поле у Восточных ворот Виттенберга, где покривился, точно готовый упасть, большой деревянный, очень ветхий, полусгнивший и почерневший, но все еще свято почитаемый крест, на только что выпавшем за ночь, девственно белом и гладком, под морозно-красным солнцем порозовевшем снегу, заголубели бесчисленные от детских ножек следы. Узнав, что на этом поле зажгут великолепный потешный огонь, дети со всего города сбежали сюда.

Доктор Лютер сожжет на костре папскую буллу о своем отлучении от Церкви – это весь город узнал из объявления, вывешенного на тех же церковных воротах в княжеском замке, где три года назад прибиты были тезисы Лютера об Отпущениях. Человек, восставший на Папу, отлученный им от Церкви, на костре не сжигаемый, а сам свое отлучение сжигающий, – было таким никогда, может быть от начала христианства, невиданным зрелищем, что смотреть на него собралась несметная толпа.

Ровно в девять утра, в назначенный в объявлении час, вышел из Восточных ворот, во главе торжественного шествия августинских иноков и всех учителей и школяров Виттенбергского университета, Святейшей Теологии доктор, Мартин Лютер. Весело скрипя по крепкому снегу сапогами, в тишине морозного утра, следовали за шествием сани, нагруженные книгами. Выйдя на середину поля, где сложен был такой огромный костер, что можно было бы сжечь на нем самого «Папу-антихриста», Лютер поднял глаза к небу, перекрестился и велел зажигать. Кто-то из молодых магистров богословия сунул горящий факел в кучу хвороста между поленищами дров в основании костра. Дым повалил, затрещали дрова, вспыхнуло в клубах серого дыма

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)

сначала красное, потом желтое пламя и взвилось так высоко под самое небо, где рассыпалось дождем огненных искр, что спугнутая с низко опущенных, под белыми подушками снега, еловых лап на опушке соседнего леса воронья стая закружилась в небе и закаркала. Маленькие мальчики и девочки, глядя на потешный огонь, захлопали в ладоши, а дряхлые старички и старушки, что приплелись сюда на костылях, чтобы увидеть, перед тем как сойти в могилу, потешнейший из всех огней – тот, на котором сожжется «нечестивая булла Папы-Антихриста», перекрестились так же набожно, как только что Лютер.

Сани с книгами подъехали к костру. Взяв одну из них, старую, толстую, в деревянном переплете и с железными скобами, Лютер кинул ее в огонь; потом вторую, третью и так – все. Это были книги Римского Канонического Права и папские Декреталии – те два столпа, на которых зиждется Римская Церковь.

Когда перекидал их все, поднял обеими руками высоко над головой папскую буллу о своем отлучении от Церкви. Если бы кто-нибудь пристальней взгляделся в него в эту минуту, то, может быть, удивился бы, что он поднимает легкий пергаментный свиток с таким усиьем, как непомерной раздавливающей тяжести камень. Но все-таки поднял, кинул в огонь и воскликнул громким голосом: «За то, что ты растлила правду Божию, да пожрет тебя вечный огонь! (Quia tu conturbasti Sanctam Domini veritatem, ideoque te conturbet ignis aeternus!)»[295]

В треске костра не слышно было, как бессильно срывается голос его; в красном отблеске пламени не видно, как лицо его побледнело, и под длинной монашеской рясой не видно, как дрожали колени.

«Я вчера еще дрожал... а сегодня так счастлив, как никогда», – писал он Штаупицу на следующий день.[296] Счастлив сегодня, но, может быть, завтра поймет, как счастье было обманчиво. Чтобы это понять, стоило ему только вспомнить все, что говорил он о Римской Церкви за последний год, и сравнить из этого сказанного одно с другим.

«Если бы даже Папа привел людей ко вратам адовым, никто не мог бы его низложить», – на эти страшные слова одного из судей своих, доминиканца Сильвестра Приэрия, Лютер отвечает 26 июня 1520 года, значит, за полгода до небывалого «счастья», еще более, может быть, страшными словами: «Если мы казнили... убийц мечом, еретиков – огнем, то почему бы не казнить так же и всех этих учителей погибели, кардиналов и пап? Почему бы не очистить эту помойную яму этой римской содомии, бесконечно растлевающей Церковь Божию, и не омыть наших рук в их крови».[297] что не в мгновеном припадке безумия сорвались с языка его эти страшные слова, видно из того, что он повторил их через два месяца, в конце августа того же года, в воззвании «К христианскому дворянству германских народов» («An den christlichen Adel deutscher Nation»), значит, два месяца вынашивая их в уме и сердце, имел время обдумать их хладнокровно: «Люди вешают воров и рубят головы разбойникам; почему же оставляют в покое величайшего из всех воров и разбойников – Папу?»[298]

И ещё через три месяца, 11 декабря того же года, в тот самый день, когда пишет о своем небывалом «счастье» (а счастлив так, конечно, потому, что накануне сжег папскую буллу о своем отлучении от Церкви и тем исполнил волю Господню), учит юных слушателей своих в Виттенбергском университете, соблазняет малых сих: «То, что мы сделали вчера, – ничто; надо самого Папу и престол его сжечь!»[299]

На голову ему упадет назад это слово, кинутое в небо, или хотя бы только в купол Св. Петра. Если верен Тезис его – «Духу Святому противно сжигать еретиков», то почему сжигать правоверных католиков с Духом Святым согласно? И неужели о том, кто кого правее, можно судить по тому, кто кого сожжет?

А 6 сентября того же года, когда была обнародована булла об отлучении Лютера от Церкви, дней через десять после того, как хотел он обезглавить или повесить Папу, и месяца два до того, как захочет его сжечь, – пишет самому папе Льву X: «Сердце мое не отвратилось от Вашего Святейшества, и я не перестаю молить Бога о вашем благоденствии... Я нападаю на Римскую курию, новый Содом и современный Вавилон... вертеп разбойничий... но ты, о Лев, подобен агнцу среди волков, Даниилу во рву львином... Я не только не восставал на тебя, но надеялся заслужить твою благодарность, трудясь для твоего спасения и разрушая темницу твою, или, вернее, твой ад... Падая к ногам твоим, умоляю тебя... не слушай льстецов твоих... говорящих тебе, что ты

– не человек, а некто, подобный Богу». [300]

Падает к ногам его, лежит у ног его, а встанет и скажет: «Да обвалится, Папа, твой престол в преисподнюю!» [301] Эти противоречия, может быть, разделены только днями, часами или даже минутами. «Я готов подчиниться Папе, как самому Христу». [302] «Я теперь несомненно уверен, что Папа – Антихрист». [303] Кажется, надо быть лгуном или сумасшедшим, чтобы так противоречить себе. Лютер не лжет и не сошел с ума, но над ним совершается странный закон всякого глубокого религиозного опыта: в неразрешимых для человека противоречиях – антиномиях – сердце человеческое мелется, как пшеница между двумя жерновами: между сказанным одному и тому же вечным «да» и вечным «нет». Надо быть сердцу измолотым, как зерну пшеницы Господней, но больно и страшно ему до крестного вопля Сына человеческого и всего человечества: «Боже мой, Боже мой! Для чего Ты Меня оставил?»

«Все заблуждения Римской Церкви не дают нам права от нее отделяться, ибо она есть Церковь Апостолов и Мучеников», – говорит Лютер в самом начале восстания, [304] и, в самом конце его, скажет Меланхтон, ближайший ученик Лютера: «Мы будем верны Христу и Римской Церкви до нашего последнего вздоха, если даже Церковь нас отвергнет». [305] Вот вечное «да», сказанное Церкви, – один из двух жерновов мелющих, а вот и другое – вечное «нет»: «Я не помирюсь с Римом во веки веков; наступил конец смирению». «Прощай, Рим, распутный и богохульный!» [306] «Быть христианином – значит не быть римским католиком». [307]

Надо быть в Церкви, чтобы спастись, надо уйти из Церкви, чтобы спастись. Это – не противоречие ума, которое должно и может разрешиться, а противоречие сердца неразрешимое.

«Я тоскую, как дитя, покинутое матерью», – жалуется Лютер в письме к Штаупицу, уходя из Церкви, и подписывается: «Лютер несчастный». [308] Так же мог бы он подписаться и под этим письмом, где хвалится, что, уйдя из Церкви, «счастлив, как никогда».

«Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди» (Пс., 130:3).

Какая ни на есть Церковь – какая ни на есть мать – другой не будет. Или будет? Все религиозное движение, начатое Лютером и до наших дней не конченное, – Протестантство-Реформация, – не ответит на этот вопрос, потому что ответ на него зависит не от человеческой воли. Только тогда, когда сердце наше будет до конца измолото в пшеницу Господню, между двух жерновов, мы услышим ответ.

Иноческая ряса-одежда особого рода: можно ее надеть, но снять нельзя. Это Лютер испытал на себе: вьезшуюся, вжешуюся в тело его рясу срывает он, как отравленную одежду Нисса, вместе с кусками тела, и мечется от боли. Может быть, все его противоречия, когда он говорит о Церкви, – не что иное, как эти метания.

«Я и сам не знаю, каким духом я обуреваем», – Божьим или бесовским. [309]

«Бес поверг его и стал бить» (Лука, 9:42). В судорогах бьется тело бесноватого, так же бьется и душа Лютера в противоречиях.

«А что, если диавол, подкидыш, килькропф Матери Церкви – не папа, а я?» – этого, может быть, Лютер не думает, но чувствует, что мог бы подумать, и это уже достаточно, чтобы волосы на голове его зашевелились от ужаса, и точно куском льда кто-то провел у него по спине: «Я не он, я не он! На, поп sum, поп sum!» – хотелось ему закричать так же, как тогда, когда священник читал дневное Евангелие о глухонемом бесноватом. «Я не знаю, не отступил ли Бог от меня», – может быть, подумал он в одну из таких страшных минут.

20

«Я – потомок христианских государей, всегда защищавших католическую веру и всегда ее поддерживавших до смерти... Этому делу буду предан и я. Нет никакого сомнения, что этот монах, один восставший на весь христианский мир, заблуждается... Вот почему я решил отдать всю мою власть... и тело мое, и кровь, и жизнь, и душу на защиту веры», – это говорил на первой Диэте, великом собрании всех членов государственных, созванном в Вормсе, в январе 1521 года, тихий мертвенький мальчик, старичок двадцатилетний, владыка

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
полумира, только что выбранный император Священной Римской Империи, Карл V. [310]

В самый канун Диэты, 3 января, папской буллой *Decret Romanum pontificem* Лютер был отлучен от Церкви окончательно и предан анафеме. В то же время Папа, в послании к императору, настоятельно просил его исполнить приговор Церкви над еретиком, чтобы «покончить с этой чумой»; это значило: «сжечь еретика на костре». [311] Но легче было императору сказать «Душу мою отдать на защиту веры», чем это сделать. Карл не хотел и не мог, на следующий день после избрания своего, восстановить против себя всю Германию, чтобы угодить Папе. Между двумя огнями оказался тихий мертвенький мальчик – между государством и Церковью, между Римским Первосвященником и Римским Кесарем – самим собою, а своя рубашка все-таки ближе к телу. «Здесь, в Германии, действие Лютера на все умы таково, что схватить и казнить его, только по суду церковному, без суда гражданского, значило бы поднять во всем народе восстание», – ответил император Карл папскому легату Алеандру, когда тот, на заседании Диэты, 13 февраля, напомнил, что «в делах веры император – не судия», больше чем просил – требовал от лица Папы, чтобы приговор над еретиком исполнен был немедленно.

Что за человек был Алеандр, видно по словам его, в которых не пастырь говорит с овцами, а щелкает на них зубами волк: «Если немцы... захотят свергнуть власть Рима, мы сделаем так, чтобы они, терзая друг друга, в собственной крови своей захлебнулись!» [312]

Очень большое влияние на Карла имел духовник его, францисканский монах Глапион, человек большого ума, но «такой непроницаемый (по воспоминаниям Эразма), что можно было с ним прожить десять лет, не зная, что он действительно думает»; кажется, великий честолюбец, работавший только на себя и на императора. Тайной целью обоих было ограничить земное владычество пап. В Лютере видел Глапион наилучшее для этого орудие.

«Я отнюдь не враг Лютера, – нашептывал он канцлеру Фридриха Мудрого, доктору Понтаусу, на тайном совещании в Вормсе. – В прежних писаниях его есть много поучительного для Церкви. Книга его „О христианской свободе“ свидетельствует о великом уме и прекрасном сердце; но другая книга „О вавилонском пленении Церкви“ меня смутила... лучше бы он от нее отрекся или признал, что написал ее в минуту гнева на своих врагов». Очень умно и верно указывал Глапион на то, что Лютер сильно «преувеличивал», говоря о власти Папы, и «противоречил себе», когда называл Папу то «наместником Христа», то «Антихристом». Если он откажется от этих заблуждений, то все остальное «пустяки» и может быть истолковано в благоприятном для него смысле. «Так, добрый товар его, уже почти вошедший в гавань, не потерпит кораблекрушения. Большая часть врагов Лютера не понимает его, и если он сам откажется от некоторых ошибок, то и суждение Папы о нем будет легко изменить». [313]

Волчий зуб Алеандра был для Лютера, может быть, не так опасен, как лисий хвост Глапиона: тот хотел его сжечь, а этот – в грязной утопить луже все его дело, восстание человеческой совести свести в бессовестной сделке на нет. После долгих колебаний между землей и небом – государством и Церковью – император наконец решился на два противоречивых действия: в угоду Римскому Кесарю – себе самому – вызвать Лютера на суд Вормской Диэты, а в угоду Римскому Первосвященнику – издать указ о сожжении Лютеровых книг.

26 марта, во вторник на Страстной неделе, императорский глашатай, Гаспард Штурм (*Gaspard Sturm*), по прозвищу Германия, привез Лютеру в Виттенберг вызов на суд вместе с охранным листом, в котором император называл Лютера не «еретиком» и не «мятежником», как в указе о сожжении книг, а «своим досточтимым и возлюбленным верноподданным». [314]

«Если император вызовет меня, чтобы умертвить... я поеду, – писал Лютер Спалатину еще за неделю до получения вызова. – Я не убегу и слова Божия не предаю... хотя и твердо знаю, что эти кровожадные люди не успокоятся, пока не умертвят меня». [315] «Римскую Церковь я готов почитать со всем смирением... выше всего, что на небе и на земле, кроме одного Бога и Слова Божия, – писал он в эти же дни князю-Избирателю. – Я охотно отрешусь от моих заблуждений, если только мне докажут, что я заблуждаюсь... потому что если бы я отрекся просто, то это казалось бы насмешкой и послужило бы к стыду самой же Церкви». [316]

2 апреля отправились они в путь в крытой от дождя и солнца колымаге, с

кучей соломы, вместо сидения.[317] Путь от Виттенберга до Вормса, через всю Германию, был триумфальным шествием Лютера. Бесчисленные толпы сбегались к нему навстречу. Но в то же время, по всем городам, согласно с указом императора, книги его «благочестивого и возлюбленного верноподданного» сжигались на кострах. «Может быть, книги сначала, а потом и сочинителя», – мечтали многие, которые и теперь, как некогда, на пути в Аугсбург, предсказывали ему участь Яна Гуса.[318]

«Гус был сожжен, но не истина, – отвечал Лютер на эти предсказания. – Император хочет меня запугать сожжением книг моих, но жив Господь – и я войду в ворота Вормса вопреки вратам адовым! И если бы от Виттенберга до Вормса зажгли огонь до самого неба, и если бы там было столько же дьяволов, сколько черепицы на крышах, я все равно туда войду!»[319]

Лютер ехал в Вормс, как воин кидается в огонь сражения. «Мученик», «исповедник» – вот слова, которыми все в эти дни объясняется в нем.

21

16 апреля он прибыл в Вормс. Императорский глашатай, Гаспард Штурм, «Германия», в одежде из золотой парчи, с черным двуглавым орлом на груди и на желтом знамени, предшествовал ему на коне; множество рыцарей следовало за ним. Более двух тысяч граждан собралось на пути. Люди выглядывали из окон и теснились на крышах домов. «Так вступил в Вормс великий ересиарх. Столь почетной встречи не был удостоен сам Император». «С нами Бог!» – воскликнул Лютер, вылезши из телеги и оглянув толпу демоническими глазами своими. Одни считают его сумасшедшим, другие – бесноватым, но есть и такие, которые видят в нем «избранный сосуд Божий», доносил в Рим папский легат.[320] В окнах книжных лавок можно было видеть портрет Лютера, с голубем Духа Святого, нисходящим на голову его и с окружавшим ее, как на иконах, сиянием.[321]

На следующий день, в четыре часа пополудни, маршал императора вместе с глашатаем пришли к нему в гостиницу и повели его в епископский дворец, где происходили собрания Диэты. Улицы загромодила такая толпа, что его должны были вести обходным путем, по задворкам и садам Мальтийских рыцарей.

Около часу прождал он перед входом в палату собрания.

«Ох, монашек, монашек, – говорил ему, ласково похлопывая по плечу, один из тогдашних знаменитых военачальников, Георг Фрундсберг (Frundsberg), – ты в такую переделку попадешь, какой никто из нас и в самых кровавых боях не видывал!»[322]

В шесть часов маршал взял Лютера в палату, где находились император, шесть князей-избирателей, двадцать четыре герцога, семь посланников, в том числе от Англии и Франции, множество епископов, князей, графов, баронов – всего двести человек. Ратники испанские с копьями и немецкие ландскнехты с алебардами стояли у дверей на часах. Дымные факелы тускло освещали душную, битком набитую палату.[323] Юный император, окруженный великолепным двором своим, «похож был на бедную овцу, окруженный псами и свиньями», [324] – вспоминает Лютер.

«Именем Его Августейшего и Непобедимого Императорского Величества спрашиваю тебя, брат Мартин: отрекаешься ли ты от этих еретических книг твоих или продолжаешь упорствовать в заблуждениях своих?» – произнес торжественно громким голосом, указывая на кучу книг, лежавших на столе, канцлер собрания, официал архиепископа Тревского, доктор Иоганн фон дер Экке (Johann von der Eске; не тот, кто спорил с Лютером в Лейпциге).

«Ваше Императорское Величество, так как этот вопрос касается величайшего из всего, что есть на земле и на небе, – Слова Божия, – то я поступил бы неосторожно, если бы ответил поспешно.. А потому смиреннейше умоляю Ваше Величество дать мне подумать», – ответил Лютер таким глухим и невнятным голосом, что и ближайшие к нему соседи едва могли его слышать. «Он был вне себя от страха», – вспоминает один из очевидцев.[325]

После краткого совещания императора с приближенными канцлер сообщил брату Мартину, что государь, «по великому милосердию своему», дает ему отсрочку на день, с тем чтобы завтра, в тот же час, он снова явился пред лицо императора и дал ответ.

Лютер вышел из палаты и вернулся в гостиницу, бледный, дрожащий, весь в холодном поту. «Что с ним? Отчего он так испуган?» – недоумевали друзья и враги его одинаково. Этого он, может быть, и сам не знал. Смерти не боялся: не было для него счастья большего, чем умереть за дело Господне. Не временной смерти страшился он, а вечной – в последнем разрыве с Церковью. Поднял меч на врага своего – «Папу-Антихриста», но Римская Церковь покрывала от него Папу телом своим, так что меч мог вонзиться в сердце врага, только пройдя сквозь тело Церкви-Матери. Вот чего ужасался он – матереубийства. Был и другой ужас: христианин без Церкви, как улитка без раковины, – самая голая, слабая, жалкая тварь. Первая улитка – он, Лютер, а за ним, если только люди поверят ему, все христианское человечество будет такая же голая тварь.

Двух этих ужасов он тогда еще не понимал, но понял потом: «Сердце мое трепещет во мне, и я говорил себе: „Неужели ты один в истине, а весь мир во лжи?.. Сколько душ увлечешь ты за собой в бездну вечной гибели?“» [326]

Ночью он долго и горячо молился: «Боже мой! Боже мой! Где Ты? Не скрывай от меня лица Твоего, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой! Не ты ли избрал меня для дела Твоего?.. Я хочу отдать жизнь мою за Тебя... Помогите же мне, Господи, заступись, помилуй, спаси! Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю!» [327]

С каждым словом молитвы ему становилось все легче. Страх от него отступил. Знал, что будет услышан. «Сам Господь ведет меня, и я иду за Ним; дело мое – Его» – это снова почувствовал. Точно какие-то могучие крылья подымали его и несли.

Спал в эту ночь так тихо и сладко, как только в самом раннем детстве, на руках у матери. Но и сквозь сон чувствовал силу тех подымающих крыльев.

22

На следующий день, в тот же час, как накануне, отвели его в епископский дворец, где опять прождал он часа два; только после шести часов ввели его в палату собрания, еще более набитую и душную. [328]

Те, кто в первый раз видели его вчера, сегодня не узнавали; это был другой человек: страха вчерашнего как не бывало; невозмутимо ясно и спокойно, почти весело было лицо его. «Дьявол, что ли, подменил его за ночь? У-у, проклятый, исчадие, оборотень!» – думали с жутким чувством суеверные испанцы и итальянцы, добрые католики.

Преданный церковной анафеме и на костер осужденный еретик стоял лицом к лицу с христианнейшим Императором Священной Римской Империи, владыкой полумира, и смотрел на него так пристально прямо, что тот невольно опустил глаза, может быть, с тем же суеверным страхом, как все добрые католики, перед этим «сатаной в человеческом образе».

Стоя тоже перед императором и снова указывая на кучу сваленных книг, канцлер Иоганн фон дер Экке повторил вчерашний вопрос, но еще более суровым и торжественным голосом, как будто строгий учитель говорил с поставленным в угол и пока еще только из милости не высеченным розгою маленьким школьником.

«Брат Мартин, отрекаешься ли ты от этих осуждаемых Церковью книг твоих или все еще продолжаешь в заблуждениях своих упорствовать?»

«Ваше Императорское Величество, Ваши Святейшие Высочества и все яснейшие Государи мои... Совесть моя свидетельствует мне, что во всем, что я доньше говорил и писал, я не имел другой цели, кроме славы Божьей и наставления христиан в чистейших истоках веры...»

Он говорил спокойным, ровным, как будто тихим, а на самом деле таким громким и внятным голосом, что каждый звук его слышен был до отдаленнейших углов палаты. И тем, кто слышал его в первый раз накануне, опять показалось, что это говорит совсем другой человек.

«В некоторых книгах моих я восстаю на папство и тех его служителей, которые ученьем и жизнью своей губят весь христианский мир, ибо никто уже ныне не

Мережковский Д. Лютер filosoff.org

может ни отрицать, ни скрыть, что не Божьими и человеческими законами и постановлениями пап совесть верующих жалко скована и замучена... Не учат ли эти люди, что ни на какие законы и постановления пап, будь они даже противны Евангелию, восставать не должно?.. Если бы я отрекся от этих книг моих, то я еще усилил бы нечестие, открыл бы ему двери и окна – особенно в том случае, если бы могли сказать, что я это сделал по воле Его Императорского Величества и всей Римской Империи. Боже мой, страшно подумать, какому злодейству я тогда послужил бы орудием...»

Голос его дрогнул, и дрогнули сердца всех – добрых и злых, умных и глупых, друзей и врагов одинаково. Он говорил по-латыни; ни император, ни большей частью его приближенные этого языка не понимали. Но странно – им казалось иногда, что они понимают, может быть, потому, что сила речи его была не в словах, а в звуках вкрадчивого до глубины душ проникавшего голоса и в горевших чудным огнем «демонических» или «Ангельских» глазах.

«Как защититься мне от моих обвинителей? Что им ответить? То же отвечу, что на допросе у первосвященника Анны ответил Христос ударившему Его по лицу служителю: „Если я сказал худо, то покажи, что худо“. Ежели сам Господь, зная о Себе, что Он заблуждаться не может, все-таки соглашался, чтобы против Его учения свидетельствовал жалкий раб, то насколько же более мне, несчастному и слишком легко заблуждающемуся грешнику, должно согласиться, чтобы против моего учения свидетельствовали все, кто хочет и может. Вот почему, милосердием Божиим заклиная Ваше Императорское Величество и всех яснейших Государей моих, и всех, кто слушает меня, от мала до велика: да свидетельствуют все против меня, да обличат заблуждения мои, на основании Слова Божия, и только что это сделают – я отрекюсь и сам брошу книги мои в огонь...»

Лютер на мгновение умолк, как будто ждал ответа. Но все молчали, затаив дыхание, забыв едкий дым и жар факелов, градом с лица катившийся пот, тесноту, духоту, в которой многим едва не делалось дурно, и чувствуя так же, как он, что здесь перед ними сейчас грядущие судьбы веков и народов нечеловеческой волей решаются.

«Верьте мне: прежде чем начать дело мое, я много думал о тех смутах и распрях, какие могут произойти от моего учения, и вот что я понял: радоваться надо происходящему от Слова Божья разделению, ибо Сам Господь говорит: „Не мир пришел Я принести, но меч“. Дивен и страшен Господь наш в судах Своих. Бойтесь же, чтобы желание ваше восстановить мир, отвергнув Слово Божие, не было причиной величайших бед...»

То, о чем он говорил, уже произошло в этом собрании – надвое разделилось оно мечом Господним: радовались одни и благословляли его, как разбивающего цепи их освободителя, а другие ужасались и проклинали его, как пойманного в доме поджигателя. Все были в смятении; он один был спокоен. Стоя у открытого окна, весь в поту, на холодном сквозняке, думал с тихой улыбкой: «Насмерть простужусь, и сжечь не успеют. А впрочем, так или иначе – все хорошо будет: Господь совершит за меня!» Чувствовал снова, что какие-то могучие крылья поднимают его и несут.

После такого же, как накануне, краткого совещания императора с приближенными канцлер фон дер Экке сказал:

«Брат Мартин, ты говорил с меньшею скромностью, чем подобало тебе, и о том, что не относится к делу. Возобновляя заблуждения, давно уже осужденный Церковью, ты хочешь, чтобы их опровергли на основании Слова Божия... Но если бы со всяким, кто утверждает что-либо противное учению Церкви, надо было спорить и убеждать его, то в христианстве не оставалось бы ничего твердого и верного. Вот почему Его Императорское Величество требует от тебя прямого и ясного ответа: отрекаешься ли ты от своих заблуждений – да или нет?»

«Так как Ваше Императорское Величество и Ваши Высочества требуют от меня прямого ответа, то я отвечу: „Нет“. Если не докажут мне из Священного Писания, что я заблуждаюсь, то совесть моя Словом Божиим останется связанной. Ни Папе, ни Собранию я не верю, потому что ясно как день, что слишком часто они заблуждались и сами себе противоречили. Нет, я не могу и не хочу отречься ни от чего, потому что небезопасно и нехорошо делать что-либо против совести. Вот я здесь стою; я не могу иначе. Бог да поможет мне! Аминь». [329]

«Так он сказал, и в этом был тверд, как скала», – вспоминает очевидец.[330]

«Брат Мартин! – воскликнул канцлер фон дер Экке, и было что-то в лице и голосе его такое человечески простое, из глубины сердца идущее, что Лютер невольно прислушался. – Брат Мартин! Не думай, что тебе одному дано разуметь Слово Божие лучше всех отцов и учителей Церкви. Возложи бремя совести твоей на Церковь, ибо верно только одно – слушаться установленных Богом властей...»[331]

Кто из них был прав – тот, кто оставался в Церкви, хотел продолжать начатое, или тот, кто, выйдя из Церкви, хотел начать все сизнова? Или правы были оба, потому что и здесь опять, как во всяком глубоком религиозном опыте, было противоречие двух истин, для человека неразрешимое – вечное «да» и вечное «нет» одному и тому же – два жернова, мелющих сердце человеческое, как пшеницу Господню?

Лютер невольно прислушался к словам фон дер Экке, и, может быть, чувство знакомого страха кольнуло сердце его, как слабое жало сонной змеи. Он хотел что-то ответить, но не успел.

Неподвижное лицо мертвого мальчика, сидевшего на троне под шелковым красным двуглавым золотым орлом тканым пологом, еще больше окаменело; только по едва заметному дрожанию какой-то жилки в щеке под левым глазом да по крепко сжатым, вытянутым в ниточку губам самые близкие к императору люди догадывались, что он возмущен и разгневан речью Лютера. Вдруг встал и, не сказав никому ни слова, пошел к двери. Кто-то из придворных, кинувшись поспешно, с низкими поклонами, приподнял на двери красную, тоже золотыми орлами тканую занавесь, и государь вышел из палаты, что было знаком, что заседание Диеты кончено.

Все поднялись и, как часто бывает в разделенных двумя противоположными чувствами собраниях, заговорили, закричали все вместе, не слушая и не понимая друг друга.

Сопровождаемый двумя императорскими телохранителями с алебардами и глашатаем Гаспардом Штурманом, со шпагой наголо, Лютер мог с трудом пробраться сквозь обступившую его толпу, в которой испанцы и итальянцы, а также и многие немцы, встретили его свистом и площадной бранью; а остальные немцы приветствовали восторженными криками; те готовы были его растерзать, а эти – задушить в объятиях.[332]

Выйдя из палаты, вернулся он в гостиницу. Издали увидев ожидающую толпу друзей своих, поднял руки к небу и воскликнул:

«Я прорвался, прорвался! Ich bin hindurch! Ich bin hindurch! Будь у меня и сто голов, я предпочел бы дать их все отрубить, одну за другой, чем отречься хотя бы от одного из моих слов!»[333]

«Я прорвался» – это были те же слова, что произнес он девять лет тому назад, в ту памятную ночь, в Черной Башне Виттенбергской обители, когда озарял его Великий Свет с неба, так же как Павла на пути в Дамаск: «Только что я понял, чем отличается Закон от Евангелия, как я прорвался».[334] Внутренний только прорыв одного был тогда, а теперь и внешний – многих. Если не все христианское человечество, то огромная часть его прорвется вслед за Лютером – куда? – в «великое от Христа отступление», *il gran rifiuto*, по слову Данте,[335] в пустоту, во тьму кромешную, или в новый свет – в то, что за христианством, в «Третье Царство Духа», по слову Иоахима Флорского? Этого ни сам Лютер не знал, ни те, кто пойдут за ним, этого не будут знать. «Кончено, кончено все!» – радовался Лютер, но, на самом деле, ничего не было кончено – только начиналось, и четыре века пройдут – все еще будет неизвестно, когда и чем кончится.

23

Лютер оставался в Вормсе еще дней семь, потому что действительные или мнимые друзья его делали последние отчаянные попытки помирить «еретика» с Церковью так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Но все эти попытки разбивались о «твердую скалу» Лютера не «делать что-нибудь против совести» («*contra conscientiam agere*»).[336]

В эти дни ходили по Вормсу такие же зловещие слухи, как некогда по

Аугсбургу: Лютер будто бы схвачен, закован, отравлен быстро или медленно действующим Александровым–Борджиевым–ядом, заколот, зарезан из-за угла наемными убийцами. За ночь на стенах домов и церквей появились воззвания: одни – с угрозами Лютеру, а другие – с известием, что четыреста рыцарей поклялись защищать его с оружием в руках и что войско в восемь тысяч человек готово выступить в поход для освобождения Германии от римского ига. «Лютер! Лютер! Bundschuh! Bundschuh!» – этот грозный, бывший и будущий, боевой клич восстающих на господ крестьян повторялся в этих воззваниях. И в собственных покоях императора найдены были подметные письма с угрозами: «Горе земле, ею же правит дитя!»[337]

«Черту под хвост охранную грамоту!» – думал про себя с зубовным скрежетом и почти говорил императору папский легат Алеандр, чуть не валялся в ногах у него, убеждая, умоляя считать охранный лист, выданный Лютеру, недействительным после произнесенной над ним анафемы. Но император стоял на своем: слова, данного хотя бы самому дьяволу, нельзя нарушать. В Карле V, вместе с Великим Инквизитором, был и рыцарь без упрёка, Дон Кихот. Начало царствования своего не хотел он обесчестить клятвопреступлением и надеялся сжечь еретика «по всем правилам рыцарской чести».[338]

«Как хорошо говорил наш брат Мартин перед Его Императорским Величеством и всеми государями Священной Римской Империи, – восхищался Фридрих Мудрый и пугался. – Слишком для меня он смел... не знаю, что с ним и делать, просто беда!»[339]

Были тайные сговоры, шепоты Лютерова Ангела–Хранителя, «старого Саксонского Рейнеке–Лиса», как Фридриха называли враги, с его приближенными, совещание о том, как бы спасти Лютера, эту славу, может быть, не только Германии, но и всего христианского мира, это «нечечко, опасную игрушку Фридриха Немудрого», как те же враги его злобно шутили.

«Шито–крыто, шито–крыто!» – все повторял он, лукаво усмехаясь в седую, Лесного Царя, Эрлкёнига, напоминающую бороду и поглядывая из-под седых, нависших бровей голубыми глазами, в которых детская простота соединялась со старческой мудростью, говорил: «Будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи». Эту заповедь Фридрих исполнил.

Тайные сговоры, шепоты были и с самим Лютером. Он все упрямо качал головой, отмахивался от дружеских советов, как от надоедливых мух; но потом опускал голову и тяжело вздыхал: «Да будет воля Господня – не моя и не ваша».[340]

Вечером 25 апреля канцлер фон дер Экке, вместе с личным секретарем государя, зайдя в гостиницу к Лютеру, объявил ему повеление императора немедленно покинуть Вормс и предупредил его, что, по истечении двадцати одного дня, когда срок охранный грамоты кончится, будут приняты нужные меры, чтобы приговор церковного и гражданского суда над ним исполнился. Лютер понял, что это значит: голову отрубят ему на плахе как бунтовщику или сожгут как еретика.[341] «О, если бы так», – подумал он с тою радостью (был, конечно, и страх, но радость все-таки больше), с которой думал об этом в последнее время всегда.

«Вот как все произошло, – писал он другу своему, живописцу Луке Кранаху. – „Твои ли это книги?“ – спросили меня. Я отвечал: „Мои“. „Отрекаешься ли ты от них?“ – „Нет“. – „Ну, так ступай вон!“[342] Если так равнодушно–холодно говорит о таком великом для него событии, в котором солнце жизни достигло высшей полуденной точки, то, может быть, потому, что уже предчувствует, что венец мученический снова, как уже сколько раз, пройдет мимо него и что не на костре сожгут его, а в грязной луже утопят.

24

Утром 26 апреля потихоньку выехал он из Вормса в Виттенберг, на той же крытой полотном колымаге, с кучей соломы вместо сидения, на которой въехал туда десять дней назад, с теми же двумя спутниками, доктором Виттенбергского университета, Амсдорфом (Amsdorf), и августинским братом, Петценштейнером (Petzensteiner). Несколько дней погостил у отца с матерью и других родственников в том самом городе Эйзенахе, где двадцать лет назад, маленьким школьником, едва не погиб от нищеты, и 4 мая пустился в дальнейший путь по Готской дороге через Тюрингский лес.

За Альтерштейном, в дикой чаще леса, между гремучим студеным ключом и

стволом расщепленного молнией старого бука, у развалин старой церкви – в тот сумеречный час, когда сильней ладанный запах только что распустившихся берез и смолисто-яблочный дух ярко-зеленой, веселой хвои, когда прядут над болотами волнисто-белую пряжу туманов дочери Лесного Царя Эрлкёнига, и блуждающие огоньки пляшут над мшистыми кочками, – вдруг, точно из-под земли выскочив, вооруженные всадники окружили колымагу Лютера. Двое, нацелившись из аркебуз на кучера, велели ему остановиться, а когда он хлестнул было коней кнутом, схватили их под уздцы и, стащив его с козел, немного потрепали. Робкий августинский монашек, ни жив ни мертв, потому что был уверен, что это не люди, а бесы, выскочив из колымаги, шмыгнул, как заяц, в кусты. Амсдорф что-то бестолково кричал, махал руками и оборонялся, но странно вяло и слабо, точно во сне. А Лютер сидел, не шевелясь, с таким равнодушным лицом, как будто это дело его не касалось. Когда же всадники велели ему выйти из телеги, покорно вышел и дал себя увести в глубину леса, где его усадили на лошадь и помчались во весь опор, сначала по большой дороге; потом свернули на окольную, с этой – еще на другую, на третью, все поворачивая, забираясь в самую чашу леса, где можно было ехать только шагом, где так долго кружили и плутали по буеракам, болотам, оврагам и волчьим или ведьминым тропам, что Лютер, очень хорошо знавший эти места, перестал понимать, где они находятся, и ему казалось иногда, что это не с детства ему знакомый Тюрингский лес, а какой-то другой, неизвестный. Странное чувство владело им, как будто все, что с ним происходит, не сон и не явь, а что-то между ними среднее – какой-то полупризрачный, полудействительный мир, в который он попал, как в ловушку, и выберется ли из нее когда-нибудь, не знал.

Было около полуночи, судя по звездам, когда на зелено-синем небе зачернели островерхие башни, зубчатые стены какого-то, на дремуче-лесистой горе, замка.

Если бы Лютер не сомневался, действительно ли есть то, чем кажется, какое бы то ни было из здешних мест, то он узнал бы тоже с детства ему знакомый замок Вартбургский.

Заскрежетали цепи подъемного моста; его опустили. Всадники въехали во двор замка, и цепи за ними заскрежетали – мост подняли. „Точно мышеловка захлопнулась“, – подумал Лютер.

С лошади слезть ему помогли какие-то почтительные люди, должно быть, конюхи или оруженосцы. Очень худой, высокий старик, с благородным и умным лицом, комендант (Кастелян) замка, рыцарь фон Берлепш (Berlepsch), как потом узнал Лютер, подойдя к нему, приветствовал его с низким поклоном: „Добро пожаловать, рыцарь Георг!“

„Вы, сударь мой, ошибаетесь. Я – доктор Мартин Лютер“.

„О нет, прошу, ваша милость, меня извинить, я слишком хорошо знаю, с кем имею честь говорить!“ – возразил комендант, еще ниже кланяясь, почтительно-любезной улыбкой, но так твердо и решительно, что Лютер понял, что спорить бесполезно; вдруг почудилось ему опять, что все, что с ним происходит, – не явь и не сон, а что-то между ними среднее, где, вместе с именем, он лицо свое потерял; что он уже не доктор Лютер и не рыцарь Георг, а так же, как Одиссей, обманувший Циклопа, – „Никто“:

„Я называюсь Никто; мне такое название дали мать и отец..“ „Знай же, Никто мой любезный, что будешь ты.. съеден“. [343]

Взяв его под руку, старик подвел его к одной из башен, отпер огромный замок, отодвинул железный засов на низенькой, дубовой, железом окованной, точно тюремной, двери, и повел его наверх по крутой, узкой лестнице, где заметались спугнутые светом факелов летучие мыши и в висевших по всем углам паутинах старые, жирные пауки забегали. Поднятая в середине лестницы железная цепь загремела; отпертая чугунная решетка на ржавых петлях завизжала, и на самом верху башни, отперев еще один огромный замок на такой же, как внизу, железом окованной двери, комендант ввел гостя в просто, но удобно и чисто убранный покой, где накрыт был к ужину стол с весело на нем горевшими восковыми свечами. Рядом был другой, меньший покой – спальня.

С ласково-почтительной улыбкой пожелав рыцарю Георгу счастливого новоселья, старик вышел из комнаты, и многоголосое эхо повторяло не только на лестнице, но и в других местах замка, постепенно удалявшиеся зловещие гулы запираемых замков, засовов, цепей и решеток.

Лютер сел за стол, и двое хорошеньких, похожих на девочек, богато, как придворные пажи, одетых мальчиков начали подавать ему на серебряных блюдах кушанья и наливать из серебряных кувшинов вино в хрустальный кубок с гербом Тюрингских ландграфов, такой великолепный, что сами они могли из него некогда пить.

Весело как будто, а на самом деле, томительно-скучно болтая с мальчиками, узнавал Лютер от них, что в башне, где его поселили, живут только совы, крысы, летучие мыши, а может быть, и упыри, сосущие кровь из людей по ночам; также, что вместо „гадкого, чужого платья“, которое на нем сейчас, ему возвратят завтра его, рыцаря Георга, собственное платье – лилового бархата камзол, штаны в обтяжку, сапоги со шпорами, шляпу с пером, шпагу и золотую цепь на грудь – все, как следует ясновельможному рыцарю. Эти слова – „свое и чужое платье“ – произносились так уверенно, что опять почудилось ему, что вместе с одеждой, так же, как с именем, он потеряет лицо свое и будет Никто.

После ужина мальчики ушли, и опять многоголосое эхо повторило зловещие гулы замков, а когда последние гулы замерли – сомкнулась над ним тишина бесконечная, как водная поверхность над утопленником. „Как ржавый ключ, иду ко дну“, – подумал он и проговорил, не узнавая своего собственного голоса, как будто не он говорил, а неизвестный ему человек – тот страшный Никто: „Как ржавый ключ, иду ко дну“.

„Я согласился, чтобы меня заточили и спрятали, я еще сам не знаю где“, – вспомнил он то, что писал другу своему, живописцу Луке Кранаху, с неделю назад, на пути из Вормса в Эйзенах. „О, насколько было бы лучше мне умереть от руки насильников!.. Но я не должен презирать совета добрых людей, до какого-то назначенного срока“. [344] Этот срок, увы, никогда не наступит – понял он теперь. Чаша „полная сладчайшей жидкости“, по слову Данте, чаша мученичества прошла мимо уст его не до срока, а навсегда.

„Боже мой! Боже мой! Зачем отвел Ты от меня руку злодеев и палачей? Почему не принял жизни моей, которую я приносил Тебе в жертву от такого чистого сердца“, – спрашивал он, [345] но знал, что ответа не будет; была только тишина бесконечная – на все вопросы человека – молчание Бога.

25

В Вартбургском заточении Лютера повторилось то же, что столько раз бывало в жизни его: в самую нужную минуту происходит самое нужное событие; то, что кажется „случаем“, есть, может быть, на самом деле, „Промысел“.

После того, что Лютер сказал и сделал в Вормсе, никакие слова и дела его, никакое присутствие не могло бы действовать на его друзей и недругов так, как его внезапное молчание, бездействие, отсутствие. В те самые дни, когда ему казалось, что он потерял лицо свое и что имя его – никто, – он в действительности только начинал лицо свое находить и быть кем-то для мира.

Весть об его отсутствии пронеслась по всей Германии с быстротою молнии.

„Жив ли он или умер, я не знаю, – писал Альбрехт Дюрер в своем путевом дневнике. – Если его убили, то он умер как мученик, за веру Христову... Плачьте о нем, все христиане, ибо он был великим пророком Божиим“.

Вот когда исполнилось для многих то, что предсказывала та лубочная картинка, где голубь Духа Святого сходил на Лютера и лицо его было окружено сиянием, как лица святых на иконах.

Многие в простом народе думали, что он убит Папой или императором: тело его, исколотое ножами, окровавленное найдено будто бы на дне рудокопного колодца, куда занесли его, по мнению католиков, бесы, а по мнению протестантов, – католики. [346]

„Лютер исчез, – доносил в Рим папский легат, Алеандр. – Говорят, что я его убил... если бы на то была милость Божия! Но кажется, его похитила старая Саксонская Лисица, Фридрих Мудрый“. [347]

Фридрих Мудрый не пожелал знать, где находится Лютер, предоставив ближайшим советникам своим избрать для него место убежища. „Хитрая лисица“ сделала

это для того, чтобы лучше сохранить тайну похищения и чтобы на вопрос Папы или императора: „Где находится Лютер?“ иметь возможность ответить по совести: „Не знаю“.[348]

8 мая 1521 года Лютер объявлен был указом императора вне закона. Это значило, что всякий мог убить его безнаказанно; кто укрыл бы его, накормил или напоил, подвергся бы такой же каре закона, как за оскорбление Его Величества; кто узнал бы, где он скрывается, должен был бы донести о том под угрозой той же кары; а кому удалось бы, схватив его, выдать властям, получил бы достойную „за столь святое дело награду“.[349] Если бы этот указ приведен был в исполнение, то, как тело человека на дне океана, Лютерово тело под двойною тяжестью государства и Церкви, императора и Папы, расплющилось бы не в мокрое пятно на земле, а в жалкую тень – в ничто.

Но и здесь опять – случай или промысел – самое нужное событие в самую нужную минуту – вспыхнувшая война с Франциском Первым, принудив императора внезапно покинуть Германию, помешала ему исполнить этот указ и помогла Фридриху Мудрому спасти „великого пророка Божьего“.[350]

Лютерова келья Вартбургского замка выходила окнами на Тюрингский лес – необозримое море то светлой березовой и липовой, то темной дубовой, то черной хвойной зелени. Шелест листьев, пенье птиц, стрекотание кузнечиков, сонное жужжание мух на стекле окна и тишина, тишина бесконечная.

Знают великие созерцатели, что в молчании, в неподвижности, в бездействии есть нечто более опьяняющее, головокружительное, чем в самом быстром движении, самом оглушительном шуме и увлекающем действии. Они знают, что в самом глубоком молчании таится последняя мудрость или безумие. Это Лютер испытал на себе. После Вормского стремительного действия, точно с разбега и слепа, внезапно ударился он и разбился о стену Вартбургского молчания и бездействия.

Иногда целыми днями сидел у окна, ничего не делая, ни о чем не думая, и только смотрел, как ветер колеблет поникшие ветви плакучей березы; любил ее больше всех деревьев, потому что сердце его, подобно ветвям ее, поникало и плакало. Слушая далекое в лесу кукование кукушки, любил ее больше всех птиц, потому что заунывный голос ее напоминал ему голос матери, когда она пела над ним ту жалобно-грустную песенку:

Оба людям мы немилы –  
Не по нашей ли вине?..

В первые дни заточения он жил в двух уединенных покоях наверху башни, как узник в тюрьме. Но по отъезде императора начали давать ему больше свободы: позволены были прогулки, сначала близкие, пешие, а потом и более далекие, конные. Но один из доверенных людей коменданта, под видом конюха или оруженосца, всегда сопутствуя рыцарю Георгу, наблюдал, чтобы никто не подходил к нему и не заговаривал с ним, и он ни с кем.

Сняв привычную одежду, просторную монашескую рясу, и каждое утро напяливая с таким трудом, что два маленьких пажа должны были ему помогать, узкие в обтяжку штаны, узкий и короткий камзол, узкие башмаки с серебряными пряжками для дома и высокие, лосевой кожи сапоги со шпорами для выхода, надевая шляпу с пером, путавшуюся в ногах шпагу, краденую золотую цепь на грудь, – он чувствовал себя ряженым шутом. Волосы на голове велено было отрастить, чтобы скрыть тонзуру, и отпустить бороду для большего сходства с рыцарем Георгом.[351] „Ты меня не узнал бы; я и сам себя с трудом узнаю“, – писал он одному из друзей своих.[352] „Оборотень, от гнусной ведьминой свадьбы гнусно преобразившийся Фауст“, – думал он с отвращением, глядя на себя в зеркало и видя сначала жесткую черную бородку. „Я только странник, узник, вольный и невольный вместе“, – писал он ученику своему, Иоганну Артиколе. – Вольный, потому что все мое желание – бороться в открытом бою за слово Божие. Но, видно, я этого не стою». И в тот же день – Меланхтону: «В Вормсе я только одного боялся, чтобы враги мои не подумали, что я бежал с поля битвы... Но Бог видит, что я ничего так не желал бы, как подставить голову под их удары».[353] И другому ученику: «О, насколько легче бороться с людьми и с воплощенным в них дьяволом, чем с бесчестным духом Зла!»[354] И другу, Спалатину, тому из ближайших советников Фридриха, который, устраивая похищение Лютера, спас его или погубил: «Я в страхе и в смятении совести, потому что, уступая в Вормсе советам твоим и прочих друзей моих, я ослабел духом и не восстал на безбожников, как новый пророк Илья. О, если бы я стоял перед ними сейчас – не такие бы речи от меня услышали!»[355] «Я

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
покинул поле битвы... против моей воли; и не знаю, была ли на то воля Божья». [356]

Знал, что с ним будет, когда согласился быть заточенным и спрятанным; но не знал, что это будет так подло, смешно и страшно. Только что два больших пса, император и Папа, на него зарычали – маленькой собачонкой, поджав хвост, шмыгнул в подворотню.

«Ваши похвалы смущают и терзают меня, потому что я живу здесь... мало молюсь и совсем не плачу о Церкви Божьей... Мне бы надо гореть духом, а я только плотью горю, в похоти, в лени, в праздности, в усыплении. Я не знаю, не отступил ли от меня Бог». [357] «я проклинаю окаменелую бесчувственность сердца моего». [358]

Сам не зная для чего, заходил иногда в пахнувший мышами темный чулан для вешания старого платья, где вбит был ржавый гвоздь, в виде крюка, в потолок; пыльная веревка лежала в углу, свернувшись, как спящая змея, то исчезая на несколько дней, то опять появляясь – наяву или во сне, – он не знал. Пристально долго смотрел то на веревку, то на гвоздь, и все думал, зачем он здесь. И вдруг, вскочив, убежал, дрожа, как лист. И точно вдогонку кто-то шептал ему на ухо – он знал, кто: «Почему сказано: не введи нас в искушение? Или мало одного Искусителя – их два – я и Он?»

Судорожно хватался иногда за работу; целые дни и ночи напролет читал, писал, изучал греческий и еврейский языки, приготавливая к переводу Священного Писания на немецкий. [359] Но работа валилась из рук, потому что казалась только иным, еще томительнейшим видом праздности. [360] «Вот уже восемь дней, как я ничего не делаю, не пишу, не читаю». [361] «О, зачем я не умер, зачем я не умер!.. Лучше бы мне было сгореть на костре, чем так гнить заживо». [362]

Тление, вместо горения – сожжения.

Как над горячею золой  
Дымится свиток и сгорает,  
И огонь, сокрытый и глухой,  
Слова и строки пожирает,  
Так грустно длится жизнь моя  
И с каждым днем уходит дымом;  
Так постепенно гасну я  
В однообразье нестерпимом!..  
О небо, если бы хоть раз  
Сей пламень развился по воле,  
И, не томясь, не мучась доле,  
Я просиял бы – и погас!

Тютчев

«Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как только выбросить ее вон на поприще людям» (Матфей, 5:13).  
Лютер чувствовал себя такой, людьми попираемой солью.

26

Слишком много ел и пил от скуки и оттого, что все блюда были очень вкусно приготовлены, и обильные пряности в них возбуждали сильную жажду. Это было вредно для его здоровья; он начал страдать печенью, и сделался такой чудовищный запор, что боялся от него умереть; был, впрочем, так мнителен, что и от легкой болезни всегда умереть боялся. [363]

Страшные видения мучили его по ночам, во сне или наяву, он сам хорошенько не знал, потому что часто просыпался из одного сна в другой, прежде чем проснуться окончательно, так что не мог отличить, что было во сне и что наяву.

Маленькие пажи купили для него мешок орехов. Он грыз их иногда после обеда и потом прятал в сундук, стоявший у стены в большом покое. Ночью, однажды, только что лег в постель и потушил свечу, услышал, что орехи в сундуке стучат так громко, как будто тряс кто-то мешок изо всей силы; потом, вылетев вдруг из сундука, начали они ударяться со всего размаха о потолочные балки, сперва в большом покое, а потом и в спальне, над самой постелью, так что вся комната наполнилась шумом, как от сильнейшего града. Лютер знал, чье это дело, но только плюнул, повернувшись на другой бок, начал было засыпать, когда услышал такой грохот на лестнице, точно

скатывались по ней дюжинами пустые бочки. Снова зажег свет, встал и, выйдя на лестницу, увидел, что там никого не было, решетка опущена, цепи натянуты; но бочки продолжали катиться с грохотом.

«Это ты, куманек? Ну ладно, стучи себе на здоровье!» – проговорил он, зевая; вернулся в спальню, лег и спокойно заснул.[364]

А в другой раз, подойдя ночью к постели, увидел, что на ней лежит большая черная собака, какой ни у кого в замке не было, тотчас понял, что это, но не испугался, прямо подошел к постели, произнес стих того псалма, где говорится о данной Богом человеку власти над всею тварью: «Все положил под ноги его» (Пс. 8, 7). Перекрестился, схватил собаку за загривок, поднял и понес к окну. Зверь не зарычал, даже не визгнул, только повернул к нему голову, как будто усмехаясь, оскалил два белых клыка и заглянул ему прямо в глаза не звериным, но и не человеческим взором. Он поднял раму и выбросил в окно собаку. «И уже никто никогда ее больше не видел».[365]

Эта Лютерова черная собака, кажется, сродни тому Фаустову черному пуделю, из которого вышел веселый школяр в огненно-красном плаще с лошадиным копытом. Судя по «Застольным беседам» Лютера, он хорошо знал историю Фауста:[366] мог прочесть ее в одном из многих списков, ходивших тогда по рукам, в том самом городке Виттенберге, где три века спустя прочтет ее в другом списке второй великий германец, равный Лютеру, Гёте.

Зачем плестись пешком к далекой цели?  
Тебе бы, друг, летать на помеле,  
А мне – на скачущем козле,  
Скорей бы так на шабаш мы поспели.  
Это приглашение беса на Вальпургиеву ночь мог бы услышать и Лютер, как Фауст.[367]

«Правду говорит Жерсон: диавол преследует человека в уединении, как заблудившуюся в пустыне овцу», – скажет Лютер в «Застольных беседах».[368] «Многие и хитрые бесы искушают меня и говорят, будто бы развлекают от скуки», – жалуется он в письмах друзьям из Вартбурга.[369] Шабаш ведьм – одно из этих «развлечений от скуки».

Памятуя слово Господне «Се, даю вам власть наступать... на всю силу вражию» (Лука, 10:19), Лютер советовал ученикам своим: «Диавола не бойтесь, плюйте на него, и убежит он, потому что он не выносит презренья». «Легче всего диавол побеждает человека страхом и унижением. Верь, что спасен, и радуйся; все дьяволы козни от человеческой радости тают, как снег на солнце».[370]

Лютер был прав, что сила диавола не в нем самом, а в человеческой слабости и что после того, как в дом сильного вошел и связал его Сильнейший, – сколько бы диавол ни искушал и ни мучил верующих, он погубить их не может; но ошибался, думая, что уже победил Врага; близким казалось ему далекое, обещанное: «На аспиде и василиска наступишь, топтать будешь льва и дракона» – уже дарованным, и то, что будет, тем, что есть. «О, если бы я мог найти такой огромный грех, чтобы диавол наконец понял, что я не боюсь никакого греха!» – этого он не сказал бы, если бы знал, почему на искушение диавола «Бросься отсюда вниз!» Христос ответил: «Господа Бога твоего не искушай!»[371] Лютер ошибался, думая, что может не бояться греха, и суждено ему было заплатить за эту ошибку.

Стояли знойные дни августа. В воздухе пахло гарью лесного торфа, и мутно-белую мглою застилалась даль. Лютер сидел однажды ночью в большом покое, за рабочим столом. Только что лежал в постели в маленькой спальне и, когда и как перешел оттуда сюда, не помнил. Странное оцепенение напало на него; все хотел что-то вспомнить, о чем-то подумать, и не мог.

Глядел прямо в окно: огромная полная луна заливала всю комнату почти ослепительно ярким светом. К мертвой тишине Вартбурга он давно привык; но никогда еще не было и здесь такой тишины. Точно все оцепенело так же, как он, и, затаив дыхание, ждало чего-то.

Перед ним лежала на столе открытая книга: Ветхий Завет на еврейском языке. Свет луны был так ярок, что он легко мог прочесть Песню Песней: «Сплю, а сердце мое бодрствует; вот голос моего возлюбленного, который стучится: „Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
любовь, как смерть“» (Песнь Песней, 5:2, 8:6).

Слабо запахло лесными нарциссами. Вспомнил, что ему говаривал «маленький грек», Меланхтон, о похищении Персефоны по Гомерову гимну: греческое имя цветка Narkissos от корня narkao, «опьянять, одурять, погружать в беспамятство»; высшее опьянение жизнью – жизни конец, срыв и падение в бездну: «Бросься отсюда вниз». Бледный цветок могил, «тяжело пахнувший», bagyodmos, страшно сладкий тленом любви-похоти – вот что такое Нарцисс. Только что сорвала его Персефона, как разверзлась под нею утроба земли, выкатил из нее, на конях огнедышащих, Адоней, царь подземного царства, подхватил ее и умчал в преисподнюю. [372]

Вдруг послышался из спальни, оттуда, где стояла постель, глубокий вздох; тишина сделалась мертвее, свет луны – ярче, и сильнее запахло нарциссами – женским телом – тленом. Медленно поднял он глаза от книги, чтобы взглянуть туда, откуда послышался вздох, но сделалось так страшно, что вскочил, хотел бежать, но что-то сильное, грубое толкнуло его в спину и, спотыкаясь, прошел он, как на плаху, в спальню к постели. Крепко зажмурил глаза, чтобы не видеть, но, как человек видит и сквозь сомкнутые веки молнии, – увидел он лежавшее на постели, голубовато-белое, точно из лунного света сотканное голое женское тело, с прекрасным, но бледным, без кровинки, лицом, как у мертвой. Глаза были закрыты, длинные ресницы опущены. Но если и вечным сном уснула, то было что-то бодрствующее, живое в смерти: «Сплю, а сердце мое бодрствует». Как Богиня, Пенорожденная, стыдливо закрывала или бесстыдно показывала рукой то, что надо было бы скрыть. И вся она была, как упоительно страшный, тленом «тяжело пахнувший» нарцисс.

Но вдруг вспомнил он то, что слышал от людей, опытных в диавольских кознях: бес, иногда похищая с кладбища только что похороненные тела молодых красивых женщин и девушек, оживляет их духом своим так, что мужчины могут совокупляться с ними, не зная, что это не живые тела, а трупы. [373]

Сомкнутые, бледные, мертвые губы ее разомкнулись, ожили, порозовели; вырвался из них глубокий вздох. Руку отвела от того, что скрывала, и в лицо ему пахнул упоительно страшный запах женского тела – тлена. Выступила на губах ее улыбка такая зовущая, вспыхнул меж дрогнувших опущенных ресниц огонь такого желанья, что и в нем ответным желанием загорелась вся кровь.

Но вспомнил: «Труп!» – и волосы на голове его встали дыбом от ужаса. Руку хотел поднять, чтобы перекреститься, – рука оцепенела; хотел произнести молитву – язык отнялся. Но что язык не мог сказать, сказала сердце:

«Пресвятая Мать, спаси!»

И вдруг исчезло все.

Утренний свет увидел в окно и услышал тихий ровный шум дождя. Ночью, должно быть, пронеслась где-то очень далеко гроза. Воздух был легкий и свеж. Пахло из открытого окна уже осенней листвой и мокрой смолистой хвоей.

Вспомнив то, что было ночью, подумал: «Только чудом Она и спасла меня – отблагодарила за акафист!» Несколько дней назад начал писать акафист Пресвятой Деве Марии по-евангельскому: «Величит душа моя Господа, Magnificat». [374] Тихие слезы текли по лицу его, как тихие капли дождя; плакал от умиления и благодарности Ей за чудо спасения. Тело все еще ныло от боли, как будто били и мучили его всю ночь; каждая жилка в теле дрожала, как после пытки, а в душе была уже радость и тишина. Дявола пустыни еще не победил, но уже знал, что победит.

Встал, перешел из спальни в большую комнату, сел за рабочий стол и принялся за дело так бодро и весело, как еще никогда в Вартбурге. Начатый акафист продолжал. Та же песнь была и в его душе, как в ее: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем» (Лука, 1:46–47).

27

Как это часто бывает в однообразной и уединенной жизни, медленно тянулись дни, а недели и месяцы летели быстро. Только что, казалось, оделся лес в осенний пурпур и золото, как уже снял свой убор; желтые листья зашуршали под ногой в прозрачно-оголенных просеках, где с царственным величием выступал круторогий олень с трепетной ланью. Крепче запахло в лесу прелым

листом, опенками, скипидарно-душной, болотною сыростью, медвежьим логовом и чем-то еще неведомо-жутким, как бы сырым и теплым, косматым мехом самого лешего. Зыблущимся треугольником, черные в зыбкой и бледной лазури небес, полетели журавлиные станицы на юг с призывно-печальным курлыканьем, и дикие лебеди понеслись так высоко, что их самих не видно было – чуть слышался только их подоблачный, трубному звуку подобный клич. Первые снежинки закружились в воздухе, ветви плакучих берез опушились на утреннем солнце сверкающим огнем, и скоро вся земля забелела под снегом. И затрещал утренний веселый огонь в очаге.

Лютер много писал: книгу «Об исповеди», «Истолкование псалмов», «Проповеди», «О монашеских обетах», «Проповедь о брачной жизни», «Против Лейпцигского козла (Доктора Эмзера)», «Против английского короля Генриха» и блистательное послание к Майнцскому архиепископу о возобновившейся продаже Отпущений: «Если Ваше Преподобие не отменит ее, то я вынужден буду приписать вам те гнусности, какие приписывал Тецелю.. и показать всему христианскому миру, чем отличается епископ от волка». [375] Написал также книгу «О Христе и Антихристе» и многие другие. [376] В то же время, готовясь к переводу Священного Писания на немецкий язык, продолжал изучать еврейский и греческий.

Твердо решил бежать из тюрьмы, освободиться, хотя бы ценою жизни, потому что тревожные слухи начали доходить до него из Виттенберга о смутах и распрях в тамошней Церкви. В конце ноября выехал он потихоньку из Вартбурга, один на коне, и неожиданно явился в Виттенберг, где друзья едва узнали его с бородой и в одежде рыцаря Георга. Пробыл там дней шесть, только для разведки (дымом запах дом – хотел узнать, не горит ли), и, когда начали ходить слухи о его приезде, поспешно вернулся в Вартбург, потому что не хотел покинуть его, не приступив к важнейшему для него делу – переводу Писания. «Я хочу говорить по-немецки, а не по-латински и не по-гречески». [377]

Только что вернулся, начал переводить Новый Завет. «Это – великое и святое дело... нужное всем для спасенья... Я надеюсь дать моей Германии перевод лучше латинского». [378] «Женщина в домашнем хозяйстве, дети в играх, горожане на площади – вот у кого надо учиться говорить на языке Священного Писания». «Глядя на уста простого человека и слушая, как мать говорит с детьми, я учусь у них». [379] «Я для моих немцев рожден; им и хочу послужить». [380] «Да совершит же Господь Им самим начатое дело!» [381]

Знал, что если только это дело совершит как следует, то впервые Сам Иисус с Двенадцатью пойдет по родным лесам и полям, от селения к селению, от города к городу, уча простой народ, впервые зазвучит Нагорная проповедь, «Блаженны нищие духом», под родное кукование кукушки и шелест родных плакучих берез. Сначала пойдет Иисус по Германии, а потом и по всем другим землям. Знал, что переводит Новый Завет – все христианство – не только на немецкий язык, но и на все языки нового времени; снова делается христианство не римским, а воистину вселенским, католическим.

Радость величайшая, какую может испытать человек на земле, – делать и знать, что делаешь доброе, нужное для всех, как хлеб и вода, святое дело: радость эту Лютер испытал в те дни.

«Как-то раз, на Аугсбургской диете, архиепископ Майнцкий открыл случайно какую-то книгу и стал ее читать, – вспоминает Лютер. – „Что это вы читаете, Ваше Преподобие?“ – спросил его один из его приближенных. „Я не знаю, что это за книга, но вижу, что в ней все против нас“, – ответил тот». Книга эта была Священное Писание. «Брат Мартин, оставь эту книгу! – говаривал мне один августинский монах, доктор Узингер, мой учитель в Эрфуртской обители. – Надо читать Отцов Церкви: они извлекли из Писания мед истины, а само оно производит лишь смуты и распри». [382] Вот почему в Римской Церкви Евангелие оставалось в течение многих веков почти неизвестной книгой: дома, на родном языке, его запрещено было читать; позволено – только в церквях, на чужом и большинству верующих непонятном латинском языке. В Римской Церкви слово Божие было крепко-накрепко заковано, заперто и спрятано. Христос онемел: как бы в уста Его палачами, слугами не Иудейских, а Римских Первосвященников, вложен был кляп. Лютер имел право сказать: «Благодаря мне Евангелие появилось впервые на свет дневной» – из тысячелетней ночи – темноты Римской Церкви. [383] Как бы вынут был кляп из уст Господних, и вдруг немой заговорил. Лютер, кажется, знал или предчувствовал, что это больше всего, что он сделал. Лютер, основатель новой Церкви, обличитель

«Папы-Антихриста», может быть, сомнителен; но Лютер, освободитель Слова Божия, – несомненен.

«Кажущийся случай – действительный Промысел; Кто же обо мне заботится, ведет меня, как слепого за руку», – это много раз в жизни чувствовал Лютер, а теперь понял он то, что ему казалось бесцельным и бессмысленным, – Вартбург: он был заточен, чтобы освободить Узника; он замолчал, чтобы заговорил Немой.

Начал переводить Новый Завет в декабре 1521 года, а кончил к марту 1522-го. Дописав последние слова последней книги, Апокалипсиса, «Ей, гряди, Господи Иисусе! Аминь!», заплакал от благодарности так же, как после той страшной ночи, когда спасла его Пресвятая Дева Мария. Став на колени перед окном и глядя на оттепельно-темное, все еще зимнее небо с такою радостью, как если бы оно уже было весенним, прозрачно-голубым, начал молиться:

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – святое имя Его... Он прощает все беззакония твои; венчает тебя милостью и щедротами; насыщает благами желание твое; обновляется, подобно орлу, юность твоя (Пс., 102:1-5).

28

В тот же день – случай опять или Промысел, но уже не Божий, а дьявольский (есть, увы, и такой), – в тот же день Лютер получил вести еще более тревожные, чем до декабрьского приезда в Виттенберг. Судя по этим вестям, в доме уже не только пахло дымом, но и выкинуло пламя. 27 декабря 1521 года, дней через двадцать по отъезде Лютера из Виттенберга, прибыли туда из города Цвиккау (Zwickau), на границе Чехии, тамошние «пророки», бедные ткачи и суконщики, «озаренные Духом Святым». «Дух, – говорили они, – дышит, где хочет, а в смиреннейших людях особенно. И только что прибыли, как вспыхнуло народное восстание: буйная чернь под неистовый крик „Жги, бей, разбивай!“ начала грабить, жечь и осквернять монастыри и церкви». [384] То же происходило и в соседних городах. [385]

Главным поджигателем бунта был, вместе с цвиккаускими ткачами-невеждами, ученейший богослов Виттенбергского университета, соборный архидиакон Карлштадт (Carlstadt), человек большого ума и пламенной веры, но ученик, пожираемый ревностью к учителю, – «Лютер второй», пожелавший сделаться первым. Думая, что Лютер заключен в Вартбурге и исчез навсегда, Карлштадт хотел заменить его и превзойти. «Лютер говорит, но не делает, топчется только на месте, ни Богу свечка, ни черту кочерга», – мог бы сказать Карлштадт почти так же, как сам Лютер говорил о себе, в Вартбурге: «Я сию весь день праздный и гнусный». То, о чем говорил и чего не делал, – Карлштадт пожелал сделать. [386]

К прошлому возвращался Лютер – к началу христианства – Евангелию, а Карлштадт устремился к будущему – к концу христианства – Апокалипсису. «Новую песнь запоем (ein neues Lied wir heben an)», – это Лютер сказал, а цвиккауские пророки и Карлштадт это пожелали сделать. [387] «Все, наконец, должно измениться», – скажут восставшие на господ крестьяне. [388] «Все должно измениться; es muss endlich anders werden», не только в Церкви, в делах духовных, но и в государстве, в делах мирских. Общности имения – «совершенного братства и равенства по Евангелию» – того, что люди грядущих веков назовут «коммунизмом», потребует ученик Карлштадта, вождь восставших крестьян, такой же священник-расстрига, как Лютер, Томас Мюнцер (Münzer): «Все да будет общим (omnia simul communia)». [389] «Царство Божие приблизилось и должно быть установлено силою, ибо, по слову Господа, только употребляющий силу входит в Царство Божие», – учил Карлштадт. [390] «Вперед, вперед, вперед! Раздувайте огонь, не давайте вашим мечам простыть от крови, не щадите никого!» – скажет ученик Карлштадта, Мюнцер. [391] «Почему бы не очистить нам эту помойную яму – Римскую Церковь, и не омыть наших рук в их крови?» – это Лютер сказал, а Томас Мюнцер это сделает. [392] Или, говоря на языке наших дней, Лютер начал Преобразование, Реформацию, а верные ученики Лютера, Карлштадт и Томас Мюнцер, начинают Переворот, Революцию. «Что же делать? Кто сеет ветер – пожинает бурю», – говаривал Лютер, пожимая плечами, в самом начале смуты. Но кто сеял ветер? [393]

Несколько дней до того, как пришли эти страшные вести из Виттенберга, Лютер, сидя за рабочим столом, взглянул в окно и сразу же понял, что происходит. Мартовская оттепель стояла на дворе; шел мокрый снег с дождем. Вдруг последние лучи заходящего солнца, брызнув из-под темных, на самом

краю неба ровно, как ножницами, срезанных туч, залили все таким горящим красным светом, что мокрые стволы деревьев сделались кровавыми, и мокрый снег тоже, и грязные лужи на дороге казались лужами крови. Что это значит, он тогда не понял, – понял теперь, читая эти страшные вести: «Будет вся Германия в крови». Кто это сказал? Кто это сделал? Только ли Карлштадт – «Лютер второй», или также первый?

«Я их не боюсь... и вы не бойтесь», – писал он друзьям своим в ответ на те страшные вести о Карлштадте и цвиккауских пророках. [394] Но если он думал, что схватит эту Черную Собаку за загривок и выбросит в окно, то ошибался, и дорого ему было суждено заплатить за эту ошибку.

Хуже всего было то, что вернейшие ученики его, как Меланхтон, соблазнялись «пророками». «Их презирать не должно, – писал Меланхтон Фридриху Мудрому. – Кроме Лютера, никто не мог бы различить, какой в них Дух». [395] Фридрих не знал, что ему делать.

«Я как мирянин ничего не понимаю в этом деле, – говорил он советникам своим, когда заходила речь о необходимом обуздании „пророков“. – Бог дал мне довольно богатства, но лучше я пойду по миру нищим, нежели сделаю что-нибудь против воли Божьей!» Значит, и он сомневался, нет ли в этих невежественных пророках-поджигателях Духа Святого. [396]

Перепуганные граждане, перессорившиеся богословы, монахи, священники – все честные люди в городе требовали возвращения Лютера и умоляли об этом Фридриха. [397] «Лютер кашу эту заварил, пусть же сам ее и расхлебывает». [398] «Я не боюсь», – говорил Лютер, но это была неправда: он только успокаивал себя и друзей своих, а на самом деле очень боялся. «Я знал всегда, что рану эту нанесет нам Сатана, но не знал, что он это сделает не чужими, а нашими же собственными руками», – писал он ученикам своим. [399]

«Злейшие враги мои не нанесли мне такого тяжелого удара, как эти друзья, – вот что терзает мне сердце!» [400] «Все мои прежние муки – ничто перед этой; никогда еще я не был так глубоко ранен». [401] В этих людях «сам Сатана восстал на Евангелие во имя Евангелия» – Христом борет Христа. [402]

«Все да будет общим (*omnia simul communia*)», – эти три слова вспомнил Лютер, взвесил – и увидел маленькое, сморщенное все в кулачок, как у мартышки, черненькое, точно обожженное, личико маленького худенького человека, «Лютера второго» – Карлштадта, освещенное красным светом раздуваемых искр. [403] «Ждать ни минуты нельзя, – решил Лютер, – надо кинуться и вырвать головню у поджигателя, пока в доме не вспыхнул пожар». [404]

После тайной декабрьской разведки в Виттенберге отправил он тогда «Верное ко всем христианам увещание остерегаться мятежа и восстания». [405] «Бог запрещает восстание... Дьявол радуется ему... Установленных властей никто не должен низвергать, кроме Того, кто их установил», – таков был смысл увещания. [406] Но Лютер чувствовал, что этого мало. «Пользуясь моим отсутствием, Сатана вышел за ограду к овцам и ввел среди них такие соблазны, которые я не могу одолеть издали... мое присутствие необходимо, – писал он Фридриху. – Совесть не дает мне покоя... Я должен, вопреки воле Вашего Высочества и воле всего мира, быть там, где находится паства моя, чтобы с нею страдать и умереть за нее, и я это сделаю с радостью... Вот одна причина моего приезда, а другая – та, что я предвижу... великое в народе восстание, которым Бог накажет Германию». [407] Это письмо написано Лютером 6 марта, уже по приезде в Виттенберг, но нет никаких сомнений, что он уже и в Вартбурге думал и чувствовал то, что высказал в этом письме. [408]

Надвое переломилась жизнь – это чувствовал Лютер, проводя последнюю ночь в Вартбурге и обозревая, как бы с высоты башни своей, весь пройденный путь жизни. Думал о трех великих искушениях. Двух прошлых и одном будущем. Первое было в Черной Башне Виттенбергской обители; второе – здесь, в серой башне Вартбурга, а третье будет, может быть, опять в Черной. В первом – искушал его дьявол невидимый, внутренний, в нем самом мнимую свободу – личностью; во втором – дьявол внешний, в образе женского голого тела, искушал его мнимую любовь – похотью; а в третьем – то видимый, то невидимый, внешний и внутренний вместе – будет искушать его мнимым братством – общностью: «Все да будет общим (*Omnia simul communia*)». В первом искушении дьявол мог погубить его; во втором – погубить дело его, а

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
в третьем, самом страшном – его и дело вместе. Первое и второе искушения он победил; победит ли третье?

29

1 марта 1522 года Лютер выехал из Вартбурга и в марте прибыл в Виттенберг, [409] где, скинув платье рыцаря Георга и надев монашескую рясу, сбрав бороду и выбрив тонзуру, снова сделался братом Мартином.

В следующее воскресенье, 9 марта, он взошел на церковную кафедру и, в течение недели, каждый день проповедывал. В этой семидневной проповеди себя самого превзошел: меру сумел найти безмерную. Внутренне себя самого утишил, усмирив, и через себя – других. К ненависти призывали Карлштадт, Мюнцер и цвиккауские пророки, а он – к любви; те думали, что меч сильнее Слова, а он думал, что Слово сильнее меча. «Я буду проповедывать, взывать, кричать, но силой принуждать не буду никого, потому что вера свободна... Только Словом должно бороться и побеждать; Словом только можно разрушить то, что воздвигнуто силой... следуйте моему примеру: с Папой я боролся, не прибегая к силе; только возвещал, проповедывал Слово Божие, и оно разрушило папство так, как этого не могла бы сделать никакая другая сила в мире». [410]

В Вартбурге, когда переводил Св. Писание, чувствовал он, созерцая, а здесь, в Виттенберге – действуя, испытал он радость величайшую, какую только может человек испытать на земле, – делать людям добро. Видел воочию, как бушующие волны мятежа под льющимся на них елеем Слова Божьего утихают. Как бы через него всех бурь земных Утешитель Небесный запретил дуть ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань. И сделалась великая тишина» (Марк, 4:39).

Но если думал Лютер, что третье искушение диавола, мнимым братством-общностью, он так же победит, как первое, мнимой свободой – личностью, и второе – мнимой любовью – похотью, то он ошибался. «Не вынимая меча из ножен и не пролив ни капли крови, он потушит раскаленную головню поджигателей» – этой надежде его не суждено было исполниться. [411]

Три цвиккауских пророка – два богослова, Марк Штюбнер (Stubner) с Целларием (Cellarius) и один неизвестный, ткач или суконщик, длинный, как шест, рыжий и веснучатый – долго добивались тайного свидания с Лютером, но тот все отказывал; наконец согласился.

«Дело твое, брат Мартин, больше, чем дело Апостолов», – начал беседу Штюбнер с такою чрезмерною любезностью, что она не предвещала ничего доброго. Лютер только молча плечами пожал, ожидая, что будет дальше.

– А нас, Цвиккауских учителей, ты за кого считаешь? – спросил Штюбнер.

– А вы себя за кого считаете? – ответил Лютер тоже вопросом.

– За таких же пророков Божьих, как ты.

– О чем же пророчество?

– О том, что царство Божие приблизилось и должно быть установлено силою.

– Все, наконец, должно измениться, – подтвердил Целларий. – Надо христианам завоевать свободу мечом! [412]

– Мечом! – подтвердил, как эхо, веснучатый, с бесконечно-тупым упрямством в лице и в голосе.

– Этого в Писании не сказано, – возразил Лютер. – Берегитесь, не от диавола ли ваши пророчества.

– Сам берегись, твои ли не от диавола! – воскликнул Целларий, ударив кулаком по столу.

Но Штюбнер, положив ему руку на плечо, проговорил спокойно:

– Проповедь твоя, брат Мартин, для богатых, а наша – для бедных; с бедными – Бог, а с богатыми – диавол.

– Диавол! – опять повторил, как эхо, веснучатый.

– Дело твое еще только в начале, а наше – уже в конце, – продолжал Штюбнер.

– Какой же ваш конец? – спросил Лютер.

– Все да будет общим, – ответил Штюбнер. – А чтобы ты знал, что и мы пророки, – хочешь, скажу, о чем ты сейчас думаешь?

– Ну, скажи.

– Ты думаешь: кто правее, ты или мы?

Лютер остолбенел: так верно угадал Штюбнер.

– Бог да поразит тебя, Сатана! – воскликнул брат Мартин, ударив в свою очередь кулаком по столу.

И, подумав, прибавил:

– Слово Божие – наше свидетельство, а ваше где, покажите!

– Да, мы покажем, – ответил Штюбнер все так же спокойно.

– Покажем! – повторило эхо.

Штюбнер встал, пошел к двери, но, перед тем чтобы выйти, остановился, оглянулся на Лютера и проговорил с тихой усмешкой:

– Вот уж погоди, брат Мартин, мы наше знамение миру покажем! [413]

И вдруг вспомнилось Лютеру, как Черная Собака в Вартбургском замке, когда он, схватив ее за загривок, повернула к нему голову и, как будто усмехаясь, оскалила два белых клыка. Понял он, что не победил Врага.

Вынуть из-под него хотели цвиккауские пророки тот единственно твердый камень, на котором он стоял, и Слово Божие.

«Писанное Слово мертво, – учили они. – Живо только сказанное Духом Святым». [414] «Божеское не воплотилось в человеческом, и не может быть заключено ни в каком установлении или слове прошлых веков, ибо Откровение все еще продолжается; вера есть вечное дело Божие». [415]

«Голос Духа Святого во мне подобен шуму вод многих. Я знаю больше, чем если бы проглотил сто тысяч Библий!» – хвалился Мюнцер. [416]

30

Новый Завет в немецком переводе Лютера появился 25 сентября 1522 года – с этого все и началось. Люди всех чинов и званий – богатые и бедные, знатные и простые, ученые и невежды, – сидя за столом в харчевне или собираясь кучами на площадях и улицах, спорили о вере. «Все, кто умел читать по-немецки, жадно читали и перечитывали Новый Завет, запечатлевая его в памяти и в сердце своем... Все носили его при себе за пазухой, и это внушало им такую гордость, что они спорили о нем не только с мирскими людьми, но и с духовными и даже с докторами богословия», – вспоминает очевидец. [417] Пахари, угольщики, пастухи, дровосеки, лоскутники, нищие «ходили из города в город, из селения в селение, проповедуя Евангелие». [418] «Все люди равны перед Богом, – учили они. – Когда Адам пахал и Ева пряла, то где были господя?» [419] Больше всего волновало умы и сердца то место в Деяниях Апостолов, где говорится о первой христианской общине:

У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее (Деяния, 4, 32).

«Общим было все, и все люди были братьями во дни Апостолов; этому примеру и мы должны следовать», – проповедывал в Швабии меховщик Себастиан Лютцер (Lutzer), а никому не известный человек из Бюльгенбаха (Bulgenbach), некий Ганс Мюллер, – имя ему легион, – объявлен был вождем «великого Христианского Братства». Он ходил по городам и селеньям, в красном платье, в красной шапочке с петушьим пером и в узких красных башмаках, может быть, с лошадиным копытом, как Мефистофель, и в «Красной Шайке» восставшие

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
крестьяне собирались вокруг него. Вот кто вышел из Черной Собаки доктора Лютера – из черного пуделя доктора Фауста – Красный Школяр, бес великого бунта:

Так вот что в пуделе сидело, –  
Школяр бродячий – пресмешное дело! –  
мог бы сказать и доктор Лютер, как доктор Фауст.[420]

«Снова поработать людей, освобожденных Христом, тех, за кого пролил Он свою драгоценную кровь, – разве это не гнусная несправедливость?.. Нет во Христе ни раба, ни свободного... Но, Богу противясь, не хотят государи, чтобы бедный человек спасся», – говорили крестьяне, собираясь в «Красной Шайке» под знаменем с Белым Крестом.[421] «Мы свободны по Писанию и хотим быть свободными, потому что кровью Иисуса Христа искуплены мы все одинаково, пастух так же, как государь».

В марте 1524 года появились «жалобы крестьян с двенадцатью просьбами». «Мы – не бунтовщики и не мятежники; мы – проповедники Евангелия... Истинные бунтовщики – те, кто Евангелию противится и хотел бы его уничтожить: наши господа и насильники», – говорилось в кратком вступлении к «Жалобам». Следовали двенадцать просьб: избрание священников сельскими общинами, дозволение рыбной ловли, охоты и рубки леса на господских землях; об уменьшении податей и барщины; о справедливости суда; о неприсуждении в пользу господ наследства вдов и сирот; об отмене крепостного права: «Если какая-нибудь из этих просьб Слово Божие противна, – чего мы не думаем, – то мы заранее от нее отказываемся. Мир Христов да будет со всеми. Аминь».[422]

В это же время швабские крестьяне, ссылаясь на книгу Лютера «О христианской свободе», [423] обратились к нему с просьбой быть их вождем и ходатаем перед господами.[424] Если бы Лютер на просьбу эту согласился, то очень возможно, что все это движение крестьян кончилось бы так же мирно, как началось, или, по крайней мере, многие ужасы крестьянского восстания были бы избегнуты. Но Лютер не согласился; он покинул и предал крестьян, а вместе с ними и себя самого.

За годы до восстания он остерегал государей: «Вашего произвола не хотят и не могут больше терпеть крестьяне. Крайней степени достигло в народе презрение к вам, государям».[425] Это сказано в 1523 году, но забыто в 1525-м, когда появилось «Увещание к миру, в ответ на двенадцать требований швабских крестьян».[426] «Главная ответственность за восстание крестьян падет на вас, государи, и еще больше – на вас, епископы, священники, монахи, потому что в вашем слепом ожесточении вы не перестаете гнать Евангелие... Нож к вашему горлу приставлен, а вы все еще думаете, что сила за вами, и что вас никто не победит». Это Лютер говорит государям, и в то же время – народу: «Если государи плохи, то этим вовсе не оправдано ваше восстание, потому что взявший меч от меча и погибнет. Иго плохих государей терпеть есть посланный нам Богом крест... Делайте, впрочем, что хотите, только не оправдывайтесь именем Христа; этого я вам не позволю: я вырву у вас Его святое имя, хотя бы пришлось для этого пролить всю мою кровь до последней капли».[427]

В сущности, ничего в этом «Увещании» не сказано и не сделано, потому что не сделано выбора; все одно – ни рыба ни мясо. Лютер опять между двумя стульями сидит. Хочет, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. В том, что люди наших дней называют «социальной революцией», «проблемой социального неравенства», он окажется вне игры, так же, впрочем, как Св. Франциск Ассизский и почти все святые.

«Ты, как собачонка между двумя сражающимися войсками – рабов и господ, бедных и богатых, – путаешься все только у тех и других под ногами, и теми, и другими будешь раздавлен», – могли бы сказать ему восставшие крестьяне.

В городе Нордгаузене звонят они во все колокола, чтобы заглушить голос его, когда он проповедует в церкви, [428] а в городе Орламюнде кидают в него грязью и камнями, а когда он бежит из церкви, кричат ему вдогонку: «Ступай ко всем чертям, чтобы тебе шею сломать прежде, чем выйдешь отсюда!»[429]

Это было для Лютера, может быть, хуже, чем папская булла об его отлучении от Церкви.

«Лютер осквернил все христианство, украл у него Евангелие», – доказывал

Томас Мюнцер в книге «Против бездушной, в неге живущей, Виттенбергской плоти» – Лютера.[430] Шайки восставших крестьян собрал он под боком у Лютера, в городе Мюльхаузен, в Тюрингии, а в городе Альштедт (Allstadt) основал тайное общество бунтовщиков, чья невидимая сеть была раскинута по всей Европе.[431] Первый понял он, что эти три слова – «Все будет общим» – тот Архимедов рычаг, которым может совершиться всемирный переворот – «всемирная революция», как скажут люди грядущих веков. Тайное общество Мюнцера – то малое горчичное зерно, из которого некогда вырастет великое дерево – Третий Коммунизм, Третий Интернационал.

«Подымайтесь, братья, если хотите, чтобы поднял вас Бог», – гласило воззвание Мюнцера к мансфельдским рудокопам, тем самым, у которых были плавающие печи старого Ганса Лютера, отца Мартинова. «начинайте битву Господню, ибо час наступил... Вся Германия, Франция, Италия уже поднялись... Бей, бей, бей!.. Куй железо, пока горячо, – Ринк-ранк! Ринк-ранк! Раздувай огонь, не давай мечу простыть от крови, не щади никого... Бей, бей, бей!»[432] «Всех богатых и сильных мира сего надо избивать, как бешеных собак», – гласило другое воззвание к восставшим крестьянам.[433]

«Бей, бей, бей! Dran, dran, dran!» – в этих звуках слышится уже, как бьют по наковальне кузнецы подземные, титаны или диаволы грядущих веков. Эта страшная, человеческой кровью дымящаяся песнь францисканского монаха Мюнцера – первая революционная песнь новых времен.

31

В ноябре 1524 года вспыхнуло восстание крестьян в Швабии; перекинулось оттуда в Шварцвальд, Эльзас, Палатинат, Архиепископство Майнцское, Франконию, и к началу 1525 года вся Германия была в огне. Красные шайки бунтовщиков, кидаясь на замки и монастыри, грабили их, жгли и разрушали. Маленькие города, не имея сил противиться восставшим крестьянам, открывали им ворота. Многие рыцари (в их числе Гец фон Берлихинген, Gotz von Berlichingen mit der eisernen hand), ученые законоведы и богословы волей-неволей присоединялись к бунтовщикам и, приводя их буйные шайки во внешний порядок, усиливали бунт.[434]

Только в одной Швабии войско или разбойничья орда восставших крестьян достигала трехсот тысяч человек. Двести девяносто пять монастырей и замков было разрушено и разграблено в одной Франконии. Все дворяне, монахи и священники перебиты или в жесточайших пытках замучены.[435] Виттенберг был окружен огнем восстания. «Мы здесь в большой опасности, – писал Меланхтон. – Если Мюнцер победит и Бог нам не поможет, то мы погибли».[436]

«Лютер погрузил всю Германию в такое безумие, что надежда не быть убитым кажется нам уже спокойствием и безопасностью», – писал весной 1525 года гуманист Ульрих Засий (Zasius).[437] «Главная причина восстания – нападение Лютера на Папу и императора, – утверждал Эразм и говорил с тихой усмешкой в лицо самому Лютеру: – Ты не хочешь признать этих бунтовщиков своими учениками, да они-то тебя признают своим учителем».[438] «Лютер сам хуже всех восставших крестьян, вместе взятых, – говорил герцог Георг Саксонский. – Ветви, от коих родилось восстание, рубить, щадя ствол, – бессмысленно».[439]

Вот когда Лютер мог вспомнить то, что увидел из окон Вартбургского замка, в тот оттепельный зимний вечер, когда вдруг последние лучи заходящего солнца, брызнув из-под зимних туч, осветили все таким горячим светом, что мокрые стволы деревьев сделались кровавыми, и мокрый снег тоже, и лужи грязи на дороге казались кровавыми; вот когда исполнилось его предчувствие: «Вся Германия будет в крови», а может быть, потом и вся Европа – весь мир. Или, говоря нашим языком, Революция есть кровавое половодье Реформации, ее весенняя, из крови и грязи, распутица – Преобразование с Переворотом, Реформация с Революцией. Сам Лютер соединил их такую уже нерасторжимую связь, как та, что соединяет двух сросшихся близнецов, когда сказал о слугах Папы, действительного или мнимого Антихриста: «Руки наши омоем в их крови».

Все эти дни, когда Лютеру все и всё говорило о Крестьянском восстании, что это сделал он, с ним произошло нечто подобное тому, что лет двадцать назад, когда, слушая в церкви дневное Евангелие о глухонемом бесноватом, он вдруг с искаженным от ужаса лицом упал на пол и, забившись в судорогах, сам, как бесноватый, закричал: «Я не он, я не он! (на, non sum! non sum!)».[440]

Книга Лютера, появившаяся в эти дни, «Против крестьянских шаек, убийц и разбойников», [441] и некоторые письма его тех же дней – такой же крик бесноватого. «Всякий бунтовщик есть бешеная собака: если ты ее не убьешь, то она тебя укусит... Надо убивать восставших, как бешеных собак... Бей, коли, души, руби, кто может!» «Всех убивайте, всех – Бог невинных узнает, если между ними есть невинные, – не Он ли сам нашими руками вешает, четвертует, сжигает бунтовщиков и рубит им головы?» «Страшное дело: все свои злодейства они покрывают Евангелием... Много есть среди них соблазненных или увлеченных силою... Будьте же, государи, милосердны к этим несчастным... Ближнего своего освобождать от диавольских лап есть дело любви... Если вы погибнете в этой войне, то не может быть лучшей смерти для вас... О, в какое удивительное время мы живем, когда можно спастись пролитием крови лучше, нежели молитвами!» [442]

Лютер в этой книге и в этих письмах ужасен и отвратителен, но немногим ли лучше кроткий Царь Давид, Праотец Господень, когда говорит: «Дочь Вавилона, опустошительница... блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень» (Пс., 136:8–9), или когда перепиливали филистимских пленников деревянными пилами, будто бы по велению Божию, а на самом деле, конечно, по велению диавола? Но, может быть, не Лютер и не царь Давид всех ужаснее и отвратительнее, а ветхий Адам во всем человечестве, после грехопадения.

Кажется, негры и китайцы чувствуют, что от белых людей пахнет иногда «покойником». Может быть, и Ангелы так же чувствуют, что от людей дурно пахнет смертью – грехом. Нет никакого сомнения, что от Лютера, натравившего господ на крестьян, так же дурно пахнет, как от царя Давида, перепиливающего филистимских пленников. Но прежде чем их за это судить, вспомним, что и от нас самих не лучше пахнет. Это, конечно, не оправдывает Лютера, но, может быть, кое-что в нем объясняет.

Сколько бы ни закрывал он глаза на все то, что сделали с восставшими крестьянами, рано или поздно он это увидел, и если не тягчайшим, то постыднейшим было для него то, что он понял бесполезность этого злого дела, потому что меньше всего нуждались государи в его поощрениях и оправданиях, чтобы, усмиряя бунтовщиков, превзойти их в лютой жестокости.

Весь крестьянский бунт продолжался лишь восемь месяцев, от осени 1524 года до весны 1525-го. Первая победа над восставшими крестьянами была одержана графом Альбертом Мансфельдским 5 мая 1525 года под Остергаузенем (Osterhausen). 12 мая соединенные силы ландграфа Филиппа Гессенского, графа Мансфельда, герцога Брауншвейгского и герцога Георга Саксонского одержали окончательную победу в Бёблингене (Boblingen), а 15 мая разбиты были наголову Красные Шайки Мюнцера под Франкенгаузенем. Против закованной в железо рыцарской колонны, с аркебузами и бомбардами, выступили беспорядочные толпы крестьян с вилами, косами, топорами, самодельными луками и кольями. В последнюю минуту, видя грозно надвигавшиеся на них полки государей, стеснились они за жалкой оградой из опрокинутых телег и песком набитых кулей, где, стоя на коленях, пели: «Дух Святой, прииди! (Veni Creator Spiritus!)», спокойно ожидая обещанного Мюнцером чуда Божия: «Небо и земля прейдут, а Бог вас не покинет!» несколько пушечных выстрелов смело ограду, и в ужасной бойне погибли все, кто не успел бежать.

Мюнцер был обезглавлен.

«Я хотел установить равенство всех христианских народов, – говорил он, идя на казнь. – Нашим главным исповеданием было: „Все будет общим, omnia simul communia!“» [443]

17 мая произошло избиение двадцати тысяч сдавшихся крестьян, под Саверном, в Эльзасе. [444] 25 октября граф Альберт Прусский, собрав на Кенигсбергской равнине всех в его владениях бунтовавших и усмиренных им крестьян, велел им стать на колени и расстрелял их из пушек – «перебил, как бешеных собак», по совету Лютера, а около сотни главарей запер в подвалы замка своего, где в смраде собственных нечистот они задохлись. В эти дни юные немецкие дворянчики играли в кегли черепами убитых или ими замученных крестьян. [445]

Так, за все разбитые горшки того, что уже тогда называлось «Лютеранством», заплатил «бедный человек» (der arme Mann), немецкий крестьянин. [446]

«Черт бы побрал все эти новые учения! Ими вы только соблазнили нас, дураков, и погубили», – жаловались бедные люди после Крестьянской войны. [447]

«Кончена война, – писал в эти дни Лютер. – Около ста тысяч человек погибло и столько же осиротело, а те, кто остался жив, так обнищали, что никогда еще лицо Германии не казалось более жалким. Всюду победители меру злодейств своих вершают». [448] Но злодеи могли бы напомнить Лютеру его же собственные страшные слова: «Нашими руками вешает, сжигает, четвертует и рубит головы сам Бог». И другие слова, еще более страшные: «Я, Мартин Лютер, истребил восставших крестьян; я велел их казнить. Кровь их на мне, но я вознесу ее к Богу, потому что это Он повелел мне говорить и делать то, что я говорил и делал». [449]

«О, если бы Лютер умел молчать! (Utinam Lutherus etiam taceret!)» – говорил иногда Меланхтон, чуть не плача. [450] Может быть, и сам Лютер когда-нибудь о том же кровавыми слезами заплачет.

В 1530 году, через пять лет после Крестьянской войны, в «Увещании к людям Церкви на Аугсбургской Диэте», он скажет: «Берегитесь: может быть, дух Мюнцера – этот бич гнева Божия – все еще жив». [451] Года через два, три, четыре оказалось, что он действительно жив. В стынувшем пепле Крестьянского восстания какой-то, говоря языком Лютера, глупый диаволенок, или целый выводок их, начал, играя, раздувать тлеющую искру не в пламя нового пожара – на это не хватило бы детских щек, – а в исполинский потешный огонь – апокалиптическое зарево ада. Или, может быть, умный старый диавол, посылая детей своих на эту игру, хотел дать людям наглядную картинку того, как могло бы осуществиться в исторической действительности по Евклидову разуму и по человеческой слабости, проповеданное в Евангелии Царство Божие. Этот совершавшийся в 1534 году, в городе Мюнстере, в Вестфалии, Апокалипсис диавола, в котором тот смешал, по своему обыкновению, смешное с ужасным, как в чудовищном видении бреда, – вовсе опять-таки не оправдывает того, что сделал Лютер с восставшими крестьянами, но, может быть, кое-что объясняет в ужасе и в ярости, которые внушало ему это восстание.

32

Около 1530 года появились сначала в Брабанте, среди бедных портных и ткачей, а затем, по всей Средней Европе, от Ливонии до Швейцарии, новые «пророки», анабаптисты-второкрещенцы. Сначала верные ученики Лютера, превзошли они потом учителя так, что Лютерову церковь считали «хуже Римской» и его самого – «хуже Папы». [452] «Надо, – учили они, – уничтожить крещение младенцев – „эту баню щенков и котят“, – чтобы взрослые, живя, как язычники, не обманывали себя, будто бы они – христиане». [453] Сколько могли, отказывались второкрещенцы от государственной присяги, от военной службы, от платежа податей и налогов, от судов, от семейных уз и от собственности. [454] «Главное наше исповедание: все да будет общим», – могли бы сказать и они, вместе с Мюнцером.

Из года в год, изо дня в день, ожидали они Второго Пришествия и тысячелетнего царства святых на земле, так же как «духовные люди», ученики св. Франциска Ассизского, в XIV веке. Швабский медник, Мельхиор Гофманн, возвещал в Страсбурге в 1533 году конец мира и сошествие Небесного Иерусалима в этом самом городе и в этом самом году. Дважды изгоняли его из Страсбурга, дважды возвращался он туда и, наконец, посажен был в тюрьму, где провел десять лет, радостно ожидая из года в год, изо дня в день, Великого дня. [455]

Главный религиозный опыт второкрещенцев был тот же, что у апостола Павла и Оригена:

Бог будет все во всем

Theos panta en pasin (1 коринф., 15:28) –

«да будет все едино», по слову Господню (Иоанн, 17:25); произойдет «Восстановление всего», «Аpokatastasis panton», по слову Оригена. [456] Один из главных анабаптистских вождей, Бернард Роттманн, Виттенбергский богослов, тоже верный ученик Лютера, в книге «О восстановлении» (De restitutione) учил, согласно с «Вечным Евангелием» Иоахима Флорского, что все бытие мира делится на три века или Царства: первое, бывшее – Отца; второе, настоящее – Сына, и третье, будущее – Духа, где и совершится «Восстановление всего», Аpokatastasis. [457] Дверью в это Третье Царство и

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)

было «огненное второе крещение» анабаптистов. Этот религиозный опыт их был очень глубок, но совершенно непонятен Лютеру, потому что весь устремлен к будущему, к Апокалипсису, а опыт Лютера – к бывшему, к первым векам христианства. Старого, говоря опять языком Лютера, не любит старый диавол; любит молодое, будущее: вот почему он и накинулся с такою жадностью на второкрещение, чтобы, растлив его и убив, трупом его завалить людям к будущему пути.

В 1533 году множество анабаптистов, изгнанных из Голландии, бежали в Мюнстер, главный город Вестфалии, где именитый гражданин, Книппердоллинг (Knipperdölling), охотно принял их учителей в свой дом и где Бернард Роттманн начал уже возвещать сошествие Небесного Иерусалима на землю, тут же, в Мюнстере, в ближайшие дни.

Как бы цветочная луковица, пересаженная с голландской грядки на германскую, распустилась здесь, в чудовищном Апокалипсисе Мюнстера, огненно-красным тюльпаном какой-то проклятой весны.

8 февраля 1533 года произошло восстание в Мюнстере. Буйные толпы второкрещенцев бегали по улицам, кричали: «Смерть некрещеным язычникам!» Люди видели в небе Апокалиптического Всадника на белом коне, с мечом в руке и золотым венцом на голове. «Светом неземным озарились от этого видения лица христиан», – восклицает очевидец. Дети пророчествовали на рыночной площади, и весь народ слушал их с благоговением.

Множество второкрещенцев – изгнанников из Брабанта, Фландрии, Фризии, Голландии, по тайному вызову Роттманна и Книппердоллинга, нахлынули в Мюнстер. Видя это чужеземное нашествие, благоразумные и зажиточные люди, протестанты и католики, одинаково, испугались и бежали из города, отдав его во власть черни. Князь-епископ, Франц фон Вальдек (Waldeck), государь Вестфалии, осадил Мюнстер, надеясь усмирить его голодом.

21 февраля избран был новый городской Совет, где возобладали второкрещенцы. Книппердоллинг и другой именитый гражданин, Коппенбрух (Koppenburch), были назначены бургомистрами. В следующие дни народ, с согласия новых правителей, разрушал все монастыри и церкви, грабил их и жег.

27 февраля народ под оружием собрался на торговую площадь, и, между тем как молился, один из главных второкрещенских пророков, Иоганн Маттис, гарлемский хлебопек, погрузился или сделал вид, что погружается тут же на площади в глубокий сон, а когда внезапно проснулся, то закричал: «„Изгнаны да будут сыны Исава; да воцарится сын Якова“, говорит Господь!»

И толпа, как в бреду, кинулась по всем улицам, с криком: «Вон некрещеных язычников!» И, врываясь в дома, хватала мужчин, женщин, грудных детей, стариков, больных, и, не позволяя им взять ничего с собою, ни даже одеться как следует, выгнала их всех за стены города, где одни из них погибли от лютой зимней стужи, под снежной бурей, а другие, попав в руки епископа, были казнены безжалостно.

С этого дня Иоганн, «Пророк Божий», воцарился в Мюнстере. Он издавал законы, но для него самого никакой закон не был писан. Он разделил город на общины и, велел собрать в Палату Казны все найденные в домах изгнанников деньги, назначил семь диаконов, чтобы разделить все, «смотря по нужде каждого», как в первой общине Апостолов.

С марта осада Мюнстера соединенными силами протестантов и католиков усилилась; все пути в город были перерезаны, и подвоз съестных припасов прекратился.

В день Преполовения Иоганн велел, «получив на то приказ Свыше», разрушить все «памятники идолопоклонства», как церковные сосуды, иконы, изваяния, и все книги, кроме Священного Писания, сжечь, что и было сделано в огромном, на Соборной площади разложенном костре, где книг сожжено было на двадцать тысяч флоринов.

Общим объявлено было все имущество города. Каждый должен был, под страхом смерти, приносить в Палату Казны все, что имел, – серебро, золото и драгоценные камни. «Две бесноватых пророчицы доносили на обманщиков, утаивших имение», и тут же на месте их казнили. Общим объявлено было не только имущество, но и жены и дети. Все ремесло и промыслы сделались

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
«священствами». Учреждены были общие трапезы, где братья с одной стороны, а сестры – с другой вкушали молча, слушая проповедь или главу из Писания.

Сделав однажды удачную вылазку, оттиснув осаждавших их до окопов и вернувшись в город с добычей, Пророк так опьянел от победы, что как бы лишился рассудка и объявил, что Бог повелел ему истребить на следующий день все войско нечестивых мечом Гедеона. Как объявил, так и сделал: с тридцатью избранными им людьми выбежал за городские ворота, кинулся на вражье войско и, вместе со всеми тридцатью, погиб.

33

Тотчас после Иоганна Гарлемского воцарился ученик его Ганс Боккольд (VoskoId), Иоганн Лейденский, поочередно кабатчик, купец, подмастерье портного, актер и всесветный, от Англии до Португалии, искатель приключений, молодой человек довольно приятной наружности, с естественным даром красноречия и очень неглупый.

На Пасхальной неделе 1534 года объезжал он весь город на коне, возглашая громким голосом: «Равенство! Равенство! Равенство! Все высокое на земле да унижится, а низшее все да возвысится!»

И велел разрушить все высокие дома в городе, башни и колокольни церквей. Но так как это было трудно и утомительно, то скоро перестал, только слегка испортив или разрушив то, что не им было построено.

Книппердоллинга низвел Иоганн из бургомистров в палачи, потому что «первые будут последними, а последние – первыми». Но тот вступил в должность палача с великою радостью.

В Троицын день Пророк заснул на целые три дня, а проснувшись, велел себе подать лист бумаги и написал на нем имена двенадцати «Старшин Израиля», избранных для него Богом, помощников и советников по делам правления.

После трехдневных богословских прений о таинстве брака обновлен был закон о многоженстве по примеру ветхозаветных патриархов, потому что Царю мало было одной жены, прекрасной голландки диверы, и он взял себе еще шестнадцать жен-цариц.

Сделанная кое-кем из последних разделенных людей отчаянная попытка свергнуть Пророка была подавлена, и одна половина ста двадцати заговорщиков расстреляна – не с человеческой и не зверской, а с дьявольской жестокостью, старыми женщинами и молодыми девушками – второкрещенками – из маленьких пушек, которые подвезли они, запрягшись в лафеты, из ратуши, где заговорщики спрятались, а другая половина была обезглавлена.

С этого дня наступило царство ужаса. Малейшее несогласие с верой и волей Пророка казнилось немедленно смертью. Книппердоллинг-палач, с двумя подручными, ходил по всем улицам города и убивал подозрительных ему людей без суда.

«Куй железо, пока горячо, – пинк-понк! Пинк-понк!» – пел Томас Мюнцер в 1524 году. Докрасна тогда, в Крестьянском восстании, раскалилось железо на адской наковальне, а теперь, через десять лет, в дьявольском апокалипсисе Мюнцера – добела.

В день св. Иоанна Предтечи, 24 июня 1534 года, один из младших пророков, Ганс Таузендшюэр (Tausendschuer), созвав народ на рыночную площадь, объявил:

«Ныне Отец наш Небесный возвещает мне, что Иоганн Лейденский, наш святой пророк, должен быть провозглашен Царем царствующих и Господом господствующих, да воссядет он на престол отца своего, Давида, и да воцарится надо всеми народами до Судного дня, и никто ему не воспротивится!»

Тут же в толпе стоявший Ганс Боккольд пал на колени и воскликнул: «Братья мои возлюбленные, вот уже десять дней, как я это знал, но никому не говорил, потому что Господу было угодно открыть вам это устами другого пророка, чтобы никто из вас усомниться в этом не мог!»

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Все пророки возгласили: «Ей, гряди Господи!»

И весь народ, после краткой безмолвной молитвы, единодушно провозгласил Иоганна «Христом Царем».

С этого дня сам Ганс, бывший подмастерье портного и странствующий актер, муж семнадцати жен, поверил или сделал вид, что верит, будто бы он действительно Христос, и что ему суждено начать возвещенное Христом в Евангелии Царство Божие. Он, впрочем, называл себя только «Иоганном Праведным, Царем Нового Сиона, сошедшим с неба на землю».

Трижды в неделю судил он народ, сидя на высоком престоле, посреди Соборной площади, в золотой, драгоценными камнями усыпанной короне, с царской державой – золотым, двумя крестами пронзенным шаром – вселенной – в левой руке, и с царским скипетром – в правой. Многочисленный двор и семнадцать жен-цариц окружали его. И на ступенях престола, у ног Царя сидел Книппердоллинг, «Палач Христов», с обнаженным мечом в руке.

Тридцать коней, в серебряных и золотых пополах из священнических риз и алтарных покровов, стояли у Царя на конюшне. И когда он ехал на коне по улицам города, все, кто встречался с ним, падали ниц и поклонялись ему, в самом деле, как Христу.

Чтобы поднять дух в народе, устраивал он великолепные празднества с пеньем и пляской. Но иногда безумье овладевало всеми. Книппердоллинг однажды, во время пляски, начал ходить колесом, вниз головой, а потом, кидаясь на людей, дул им в лицо и приговаривал: «Духа Святого примите!»

И вдруг сел, ухмыляясь, на царский престол. Думали, что Царь его казнит, но тот посадил его в тюрьму на несколько дней, а потом простил и вернул ему все прежние почести.

В октябре 1534 года совершили всенародную Тайную Вечерю на Соборной площади, где расставлены были рядами длинные столы больше чем на 4200 человек. Ели и пили, как на обыкновенных пирах. Но в середине трапезы Царь разломил большие пшеничные хлебы на множество маленьких кусков и, наполнив ими корзинки, ходил по рядам вместе с придворными и, раздавая куски, говорил: «Примите, ядите, смерть Господню возвещая, доколе приидет!» – «Уже пришел!» – отвечали ему шепотом все, принимая кусок.

А старшая царица, Дивера, вместе с остальными царицами, тоже ходила по рядам, с золотою чашей красного вина и говорила: «Пейте из нее все, смерть Господню возвещая, доколе приидет!» – «Уже пришел!» – отвечали ей.

Потом все запели: «Слава в вышних Богу и Христу Царю на земле!»

После таинства пророк Таузендшуер, вскочив на скамью, спросил, хочет ли народ исполнить волю Божию, и, когда все ответили «Хотим!» – сказал: «Ныне Отец наш Небесный повелевает нам разослать двадцать восемь пророков во все концы мира, дабы возвестить людям пришествие Царя Христа!»

И назвал имена пророков. Все они сели за царский стол и ели, и пили. Вдруг, во время трапезы, когда уже начало смеркаться, Царь поднялся и сказал, что идет исполнить волю Божию. Был среди пирующих пленник, ландскнехт осаждавшего войска, которого привели сюда, чтобы посмеяться над ним. Царь прямо подошел к нему и одним ударом меча отрубил ему голову; потом спокойно вернулся к столу и сказал: «Это был Иуда Предатель!»

И все много смеялись.

После трапезы каждому из двадцати восьми пророков дали по червонцу, и, с наступлением ночи, они отправились в путь.

К концу 1534 года осада усилилась так, что ни один гарнец муки и ни один бочонок вина не могли проникнуть в город. Но и надежда осажденных усилилась, потому что пророки возвещали им, что город будет не сегодня завтра освобожден огромным, уже идущим из Голландии войском. И все готовились к завоеванию мира. Царь уже раздавал своим приближенным все царства Востока и Запада. В эти дни, слыша о чудесах, происходивших в Мюнстере, второкрещенцы и в других городах зашевелились, готовясь к восстанию и надеясь, что «Царь Христос» из Мюнстера придет к ним на помощь.

Как бы глухие гулы землетрясений пронесли по всему европейскому Западу.

Но в Мюнстере уже начался голод. Многие роптали, и ходили слухи о заговорах. Но все еще устраивались пышные празднества, пиры голодных, переходившие иногда в кровавые оргии.

Как-то одна из цариц шепнула другой: «Полно, сестрица, есть ли воля Божья на то, чтобы несчастный народ умирал от голода?»

Та донесла об этом Царю. Он потащил виновную на рыночную площадь, велел ей стать на колени, схватил ее за волосы, отрубил ей голову и, топча ногами труп, сказал: «Это была девка продажная; она меня не слушалась!»

И начал плясать, и весь народ – с ним.

Голод усилился так, что ели дохлых крыс, кошек, собак и человеческое мясо; многие сходили с ума, другие убивали себя, а иные искали забвения в таком неистовом разврате, что жертвами его становились дряхлые старухи и десятилетние девочки.

34

«Бог, наконец, пришел и разрушил этот ад», – вспоминает очевидец.

Была тихая, жаркая ночь на Ивана Купалу, 24 июня 1535 года – в годовщину того самого дня, когда Иоанн Лейденский объявлен был Царем Христом. Тихо было на земле, бездыханно, а по небу быстро неслись облака, и луна, иногда выходя из-под них, освещала, у двух противоположных стен в глухом переулке, живой человеческий остов, пожиравший дохлую крысу, и полуголый труп изнасилованной девочки, смотревшей на небо с широко открытыми глазами, с таким недоумением, как будто она хотела спросить: «Что это значит: волоса с головы вашей не упадет без воли Отца вашего Небесного?»

Вспыхнули лунные искры на железных наконечниках длинных копий и тотчас потухли, когда луна опять зашла за темные облака. Двести епископских ландскнехтов прильзнулись бесшумно; как серые тени, спустились в черную щель высохшего от летней засухи рва. Вел их перебежчик из осажденного города, может быть, отец той изнасилованной девочки, или просто человек, которому надоело питаться человеческим мясом, безумствовать. Выбрав место, где стена была пониже и защищена слабее, приставили к ней лестницу, все так же беззвучно, как тени, влезли по ней на стену, обманули первых часовых паролем, который сообщил им перебежчик, овладели одной из башен городской стены и, с безумной отвагой, не дожидаясь следовавшего за ними отряда, кинулись на Соборную площадь, с барабанным боем и военным кличем.

Вскакивали люди с постелей, хватались за оружие и выбегали на улицу, где дрались в ночной темноте яростно за каждую пядь земли.

Третьего Царства благовестник, Бернард Роттман, кинувшись в самую гущу боя, счастлив был умереть, чтобы не видеть того, в чем он, может быть, чувствовал себя виноватым: царство дьявола вместо Царства Божия.

Царь, отовсюду теснимый, с последними верными слугами, тоже дрался, как лев, с храбростью отчаяния, защищая одни из городских ворот. Но вынужден был отступить под бешеным натиском, начал переговоры и, наконец, сдался. В то же время удалось нападавшим ворваться в другие ворота, и через них все епископское войско хлынуло в город. Начал светать. Разъяренные ландскнехты сметали все перед собой и, врываясь в дома, резали всех, кто попадался под руку. Город был предан мечу и огню, а в следующие дни казни довершили кровавое дело ландскнехтов.

Царь, с двумя верховными сановниками, канцлером Бернардом Крехтингом (Krechting) и палачами, привезен был в город Тельгет (Telget), где епископ подверг его допросу и пытке.

– Кто дал тебе власть? – спросил он Царя.

– А тебе кто? – ответил тот.

– Весь народ и капитул.

– А мне – сам Бог!

И, немного подумав, прибавил: «Вы ничего не знаете, а если бы знали, то не осудили бы нас... Царство наше в Мюнстере было прообразом Царства Божия на земле, как на небе... Мы знали, что сделали, и Бог нам судия!»

Месяцев шесть провел Иоганн в железной клетке, в которой показывали его народу, возя по городам и селеньям, в тюрьме и в лютых пытках.

19 января 1536 года привезли его, вместе с палачом и канцлером, обратно в Мюнстер. За три дня до казни епископ послал ему духовника, чтобы приготовить его к смерти. Очень, должно быть, ослабев от пыток, он покался во всех грехах своих, исповедался, причастился и, горько плача, сказал: «Я только бедный подмастерье-портной. Это Книппердоллинг свел меня с ума своими безумными бреднями...» Если он не прибавил «и Мартин Лютер», то, может быть, потому, что слишком его презирал. Крехтинг и Книппердоллинг остались, несмотря на все пытки, непреклонными и не признали себя виновными ни в чем.

22 января, в восемь часов утра, привели Царя с двумя сановниками на площадь ратуши, где построен был эшафот, и, обнажив до пояса, привязали к столбу. Два палача, один справа, другой слева, рвали ему ребра поочередно раскаленными докрасна железными щипцами. Первые удары вынес он без жалобы, а потом начал стонать, глядя на небо: «Отче, помилуй!»

Рвали целый час, пока, наконец, один из палачей, должно быть, устав, не вонзил ему ножа в грудь.

«Отче, в руки Твои предаю дух мой!» – возопил он, умирая.

После него взвели на эшафот двух остальных и так же рвали им ребра. Оба вынесли пытку без жалобы – «может быть, потому, – заметил все тот же очевидец, – что после долгих пыток в тюрьме походили больше на мертвых, чем на живых».

Трупы всех троих кинули на рогожи и притащили их к церкви Св. Ламберта, где были приготовлены три больших железных клетки. К ним приковали трупы цепями, подняли их на самый верх колокольни, где вбиты были крюки, и подвесили так, что Царь был посередине, а двое остальных – справа и слева от него, пониже на человеческий рост. Здесь суждено им было провисеть три с половиною века, и когда птицы исклевали их, то мыли дожди, и солнце сушило их белые кости. [458]

Почему три клетки, три точки чернели то в ясном, голубом, то в белом, облачном небе, то на золотом невинном восходе, то на красном, кровавом закате – это поняли бы, может быть, три благовестника Трех: Иоахим Флорский, Данте и Роттманн; поняли бы, что потому-то и накинута диавол с такою яростью на эту несчастнейшую попытку несчастнейших людей осуществить на земле Царство Божие; потому-то и сделал он из этой попытки кощунство кощунств, ужас ужасов, что тут дело шло о Третьем Царстве – о числе Божественном – Три. «Вот что такое ваше Три на земле и на небе», – как бы говорил диавол людям этими тремя точками в небе, не заботясь, как великий художник, что это люди не скоро поймут. Этого, во всяком случае, не понял основатель Протестантской Церкви, Лютер, так же, как епископ Церкви католической, Франц фон Вильдек, тот самый, чьими руками диавол устроил эту хулу на Трех.

35

Но Лютер кое-что все-таки понял.

«Что мне сказать об этих жалких людях? – начинает он вступление к „Новейшей летописи о второкрещенцах в Мюнстере“, – одну из своих самых глубоких, пророческих и благочестивых страниц. – Не очевидно ли, что диавол здесь воцарился, или, вернее, целая куча диаволов, слипшихся, как жабы в гнезде? Но признаем в этом и великую милость Божию. После того, как Германия столькими кощунствами и кровью стольких невинных заслужила тяжкого бича Божья, Отец всякого милосердия все еще не позволяет диаволу ударить по ней как следует, но остерегает ее отечески этой грубой сатанинской игрой в Мюнстере... потому что все это дело – только шалость маленького бесенка-школьника, который едва научился азбуке... Или если даже это дело самого Сатаны, великого и премудрого, но все же скованного Божьими цепями

так, что он не мог действовать с большою ловкостью. Так остерегает нас Бог... прежде, чем дать свободу такому диаволу, который нападет на нас уже не с азбукой, а со всей своей наукой... Если такой беды наделал диаволенок-школьник, то чего не сделает сам великий Сатана, ученый и премудрый богослов?... Дай-то Бог, чтобы во всем мире диавол не оказался умнее, чем в Мюнстере... Нет столь малой искры, которой не мог бы диавол, при поущении Божьем, раздуть во всемирный пожар». [459]

Видя над собою все ближе и грознее полыхающее зарево этого пожара, мы теперь знаем, что Лютер не ошибся: он пророчески понял, что пламя Крестьянского бунта не потушено, а только на время подавлено, и если вспыхнет снова, то может сделаться началом того «всемирного пожара», который мы называем «социальной революцией».

«Но кто же поджигатель этого пожара, великий Сатана, ученый и премудрый богослов, как не сам доктор Мартин Лютер?» – могли бы сказать римские католики. Кажется, предвидя возможность такого обвинения, Лютер спешит оправдаться: «Бунт, – говорят они, – вышел из учения Лютера, значит, оно от диавола». «Вышли они от нас, но не были наши», – говорит апостол Иоанн (1 Иоанна, 2:19). «Не было еретиков из язычников – все они вышли из Церкви; значит ли, что Церковь от диавола?... Яд извлекает паук... из розы, а пчела – мед; чем же виновата роза, что мед в пауке становится ядом?» [460] Если так, то, казалось бы, все хорошо: ядовитый паук раздавлен в Крестьянской войне и в Мюнстере, а собирающая мед пчела уцелела в протестантской Церкви. Что же значит это признание Лютера в 1533 году, в самый канун Мюнстера: «Сколько раз нападал на меня диавол и душил почти до смерти, напоминая, что следствием проповеди моей было восстание крестьян». «И царство диавола, вместо Царства Божиего, в Мюнстере», – мог бы он прибавить, потому что эти два восстания для него внутренне связаны, как два пламени в одном пожаре.

Как и чем душит его диавол, Лютер не говорит, может быть, потому, что люди вообще о такой муке и о таком ужасе не говорят – для этого нет у них слов; но если сравнить две религиозные воли – ту, которая была у Лютера до Крестьянского восстания, с той, которая была у него после, то можно как бы глазами увидеть и руками пощупать те два конца веревки, которую диавол стягивает в мертвую петлю на шее Лютера, чтобы его задушить.

«Я не хочу никого принуждать к вере насильно... только Словом Божьим надо бороться и побеждать». «Сделайте так, чтобы наш государь не осквернил рук своих кровью этих людей» – вождей Крестьянского восстания. [461] Вот один конец веревки, а вот и другой: «Бей, коли, души, руби, кто может!» «Я, Мартин Лютер, истребил восставших крестьян; я велел их казнить; да падет же их кровь на меня, но я вознесу ее к Богу, потому что это Он повелел мне говорить и делать то, что я говорил и делал».

«Ересь есть нечто духовное: вырубить ее нельзя никаким железом, выжечь никаким огнем, ни в какой воде утопить; это делается только Словом Божьим». [462] Вот опять один конец веревки, а вот и другой: с ересью, как со всяким бунтом против церковно-государственной власти, должно бороться не только словом Божьим, но и мечом и огнем; в этом Лютер соглашается с Лойолой, Торквемадой и Кальвином. [463] «Я доньше (до Крестьянского восстания) думал, что можно управлять людьми по Евангелию... Но теперь (после восстания) я понял, что люди презирают Евангелие; чтобы ими управлять, нужен государственный закон, меч и насилье». [464] «Слушаться надо закона, и дело с концом». [465] «Большинство государей – величайшие безумцы или злейшие негодяи в мире, но все-таки их надо слушаться, потому что они – палачи и тюремщики на службе у Бога». [466] «Власть государей должна быть самодержавной». [467] «Государь – боги, народ – сатана». [468]

Бог в свободе, Бог в насилье – вынести не может душа человеческая такого противоречия, и душа Лютера его не выносит. Он делает отчаянные усилия вырвать шею из дьявольской петли, но с каждым усилием затягивает ее все туже.

«Бог установил две власти, – учит Лютер, – одну духовную, действующую на христиан духом Святым... другую – светскую для нечестивых», действующую насильем. [469] И это навсегда, без всякого возможного, не только внутреннего, личного, но и внешнего, общего пути от насилья к свободе, потому что Царство Божие на небе, а на земле – царство диавола.

«Двум господам служить не можете», – говорит Господь. «Нет, можете», –

отвечает Лютер или за него мертвую петлю на нем затягивающий, диавол. «В качестве христианина я должен все терпеть, а в качестве гражданина я должен противиться злу».[470] Здесь «я» значит: всякий человек, всегда, с того дня, как это сказано, до конца времен, без всякой надежды, что будет иначе. Но если из души человеческой, как из волшебной коробочки, выскакивает то белый чертик, то красный – то «христианин», то «гражданин», и белый служит Христу, а красный – Князю мира сего, и это хорошо, и так будет всегда, то тщетно Евангелие; только что самим же Лютером явленное миру снова исчезнет оно: вместо Евангелия будет «Маленький Катехизис» Лютера. Папскими буллами и церковными канонами завалено было Евангелие в Римской Церкви, а в протестантской – будет завалено государственными законами. Если к этому сводится все дело Лютера, то он не «хуже Папы», как думал Мюнцер, но и не лучше: «Виттенбергский папа», Лютер – такой же «Антихрист», как папа Римский.

«В доброй войне (на защиту родины), – учит Лютер, – долг христианской любви истреблять врагов беспощадно, грабить и жечь их по законам войны... потому что сам Бог помогает сильному».[471] Самое страшное здесь то, что это говорится так спокойно или как будто спокойно, безболезненно, и что Лютеру в голову не приходит вопрос о том, нет ли опять-таки возможных путей от вечной войны – несомненного царства дьявола – к вечному миру – столь же несомненному началу царства Божия.

«Война исполняет призвание божественное», – учит Лютер.[472] Но ведь точно то же мог бы сказать и Томас Мюнцер о «священной» для него войне – восстании бедных, угнетенных, на богатых, угнетающих. «Надо убивать господ, как бешеных собак», – учит Мюнцер; «Надо убивать рабов, как бешеных собак», – учит Лютер: одно другого стоит.

О, если бы в этих противоречиях был только Лютер против Лютера! Но в них как будто и Христос против Христа, Бог против Бога.

Сколько бы Лютер ни закрывал на это глаза, он не мог этого не видеть, а если даже и не видел, то чувствовал. Бывали, вероятно, такие минуты, когда в муке этих противоречий, два диавола – один, хулящий Отца в Законе, другой, хулящий Сына в Свободе, – терзали душу его, как те два палача Иоганна Лейденского, которые ему поочередно, то справа, то слева, рвали ребра раскаленными докрасна железными щипцами.

«О, зачем я не умер, зачем я не умер» – может быть, думал он и в Виттенберге, как в Вартбурге, и вспоминал тот темный, мышинный чулан с крюком в потолок и валявшейся в углу веревкой. Чтобы в петле, на крюке затянутой, шейные позвонки хрустнули, нужно было двадцать секунд, а в дьявольской петле противоречий нужно будет для того же двадцать лет.

36

Двадцать лет будет он умирать заживо. Через год после Крестьянской войны, в самом начале 1527 года, тяжело заболел какой-то, врачам и ему самому непонятной, болезнью. Как бы духовно, метафизически ранен был в самое сердце, и рана эта становится физической: «Точно сгусток крови остановился у меня около сердца, и я едва от этого не умер».[473] «Эта болезнь неестественна; она подобна тому, о чем говорит ап. Павел (2 Коринф., 12:7): „Послан мне ангел сатаны – мучить меня, душить меня“».[474]

После этой болезни уже не мог оправиться, и в сорок четыре года он уже почти старик:

Напрасно ты металась и кипела,  
Развитием спеша;  
Свой подвиг ты свершила прежде тела,  
Безумная душа.  
Баратынский

Если не вся душа отнялась у него, как рука или нога у параличного, то главная часть души – воля. В эти двадцать лет действует в нем страшный закон физической и духовной косности, инерции; он уже не деятель, а только созерцатель событий. Дело его продолжается, но помимо него и даже иногда вопреки ему. Он уже ничего не делает, а с ним только делается все. „Ты двигать думаешь, но движешься ты сам“, – мог бы сказать бес и доктору Лютеру, как доктору Фаусту».[475]

Медленно двигается – катится по наклонной плоскости. «Под гору, под гору!» Это чувствует он сам, и все, кто живет с ним, за эти двадцать лет.

Ложку дегтя влил диавол в бочку Лютерова меда. В жизни его мед, конечно, остался, но сквозь сладость его чувствуется отвратительная горечь дегтя во всем.

«О, если бы я мог найти такой огромный грех, чтобы диавол, наконец, понял, что я не боюсь никакого греха!» Этот грех Лютер нашел, но, совершив его, испугался. Им-то и душил его диавол двадцать лет, «напоминая, что следствием проповеди его было восстание крестьян» и мнимое Царство Божие в Мюнстере.

Двадцать лет умирает во сне; хочет проснуться и не может; пробуждением будет смерть.

Чтобы увидеть и понять, что произошло с Лютером между 1525 и 1535 годами, между Крестьянским восстанием и падением Мюнстера, стоит только сравнить два лица его – первое, до этого десятилетия, и второе – после него. Длинный и тонкий, как хворостина, такой худой, что «казалось, можно бы пересчитать все кости его», иннок-подвижник с изможденным, смуглым, точно обожженным, лицом и таким пронзительным взором огненных «демонских» глаз, что «трудно было вынести», – вот первое лицо, [476] а вот второе: белое, пухлое, точно водянойкой раздутое, болезненно-желтым, старческим жиром залитое, с отвислыми щеками и двойным подбородком, с только изредка загорающим прежним огнем, а большей частью, потухшими сонными глазами; старая, толстая эйслебенская баба или старый, огромный, осклизлый, в Тюрингском лесу, на куче прелых листьев, загнивающий гриб. [477] Между этими двумя лицами и затянулась мертвая петля диавола на шее Лютера – неразрешимые для него противоречия в Боге, – Сына против Отца и Отца против Сына, – то искушение, о котором он говорит с такой ужасающей точностью: «Бог для нас хранит великие искушения... в которых мы уже не знаем, не диавол ли Бог, и не Бог ли диавол». [478]

37

Кажется, первой, как бы геометрической, во времени, точкой Лютерова медленного скатывания, движения вниз – «под гору, под гору» – был первый или второй час пополудни 9 октября 1524 года – самый канун Крестьянского восстания. Утром еще, в монашеской рясе, он служит обедню и проповедует в церкви, а потом скидывает рясу и надевает светское платье – черный, на меху, докторский плащ, сшитый из прекрасного, курфюрстом Саксонским, Фридрихом Мудрым, подаренного ему сукна, и плоскую, черного бархата, докторскую шапочку-берет. «Я сшил себе и надел это платье, – хвалится он, – во славу Божью... и на зло Сатане». [479]

Видеть это переодевание могла жившая в доме Лютера, опустевшей Виттенбергской обители Августинского братства, вместе со многими другими монахинями, Катерина фон Бора, молодая девушка двадцати шести лет, с правильным, плоским, холодным, обыкновенным лицом, с большими глазами, прозрачно-ясными и простодушными, как у ребенка. Так же, как многие другие мудрые и глупые девы по всем женским обителям Германии, убежденная проповедью Лютера против монашества, бежала она полгода назад из Нимбшенской обители (Nimbschen), вместе с двадцатью другими сестрами. Выскочила ночью из невысоких окон в монастырский сад, перелезла через стену и, чтобы выбраться потихоньку из города, спряталась в пустую бочку из-под пива на проезжавшем возу. [480]

13 июня 1525 года, в самый разгар Крестьянского бунта, Лютер женился на Катерине, зная, что она несчастно любит другого – молодого виттенбергского студента, который легкомысленно покинул ее; но это не помешало Лютеру, потому что он не любил ее, а только «жалел», как сам признается: «Богу было угодно, чтобы я ее пожалел, и это хорошо кончилось». [481] Может быть, не так хорошо, как ему сначала казалось.

«Я женился, да еще на монахине. В этом не было особенной надобности: я мог бы и воздержаться. Но я это сделал, чтобы подразнить диавола и весь его змеиный выводок – мешающих людям жить государей и епископов. Я был бы очень рад, если бы мог произвести еще больший соблазн, делая то, что Богу угодно, а безбожников приводит в ярость». [482]

К свадебному пиру выписал жених бочку торгаузского пива от того пивовара,

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
на чьем возу спряталась Катерина в бочке, когда бежала из монастыря. [483]  
«Пенорожденные обе, – мог бы воспеть ее кто-нибудь из бывших на том пиру гуманистов-поэтов, – древняя богиня из пены морской, а Катерина – из пены пивной».

«Если этот монах женится, то диавол и мир посмеются над ним», – говорили католики и ждали, что от этого «гнусного сожительства» монаха-расстриги с беглой монахиней «родится Антихрист». [484]

«Люди меня за этот брак презирают, но я знаю, что Ангелы радуются ему, а бесы плачут». «Богом самим дана мне Кэте», – хвалится Лютер. [485]

Катерина – добрая хозяйка, бережливая, даже скупая, добрая мать, вечная сиделка вечно больного мужа. Стряпает на кухне, моет пеленки, правит домом, сажает, строит, покупает, продает, унавоживает поля, откармливает свиней. [486] «Моя Катерина – ребро мое, цепь моя, Catena mea, мой господин Кэте, dominus meus Kathe, мой владыка и законодатель Моисей», [487] – продолжает Лютер хвалиться, «назло Сатане», но умалчивает о главном – о том, что брак для него не великое христианское Таинство, как для ап. Павла – «Тайна сия велика», – а только исполнение гражданского и естественного закона. [488] Признаки пола – «почетнейшие и прекраснейшие члены нашего тела»; но вследствие греха сделались «гнуснейшими». [489] «Брачная любовь – такая же для нас необходимость, как пить, есть, плевать и облегчать желудок». Но это «все же грех, и если Бог все же не винит людей, то лишь по милосердию своему». Брака иногда не отличает Лютер от блуда: «Если твоя жена отказывается спать с тобой, возьми служанку». [490] «Блуд происходит от закона... вот почему мы любим продажных женщин больше, чем жен», – говорит он с почти невероятной для такого человека, как он, циничною грубостью. [491]

«Богом самим дана Кэте» – это в начале. А в конце: «Только женись, и самые глубокие мысли твои сделаются плоскими... все они сведутся к одному: думать и делать то, чего не хочет она... Кто женится, тот увидит конец своих счастливых дней». [492] Это сказано в застольной беседе, может быть в присутствии жены. Вот когда не «Ангелы радуются» и не «бесы плачут», о том, что Лютер женился.

«Часто диавол лежит со мной на постели, ближе ко мне, чем жена моя, Катерина». [493] Может быть, в минуты такой ужасающей близости не всегда умел он отличить жену от диавола; слушал, как рядом с ним дышит в темноте неизвестно кто – она или он, и волосы на голове его вставали дыбом от ужаса, как тогда, в Вартбургском замке, когда увидел ночью на постели своей голое, женское, мертвое тело, похищенное диаволом с кладбища.

Как это часто бывает в слишком разумных и удобных, как будто счастливых браках, Лютер тяжелеет, засыпал – шел «под гору, под гору». «В неге живущая, бездушная Виттенбергская плоть – мясо – туша», – думали о нем такие слепые враги его, как Мюнцер, но ошибались: в неге Лютер не жил; если и засыпал, то на ложе не из роз, а из терний, иглами их исколотый весь, медленно истекающий кровью; хотел проснуться и не мог – умирал во сне.

38

Так же, как всех истинно великих людей, дающих миру что-то новое, окружает его, к концу жизни, все ширящаяся зона одиночества, как бы безвоздушной пустоты. Он знал, что если будет погибать, то никто ему не поможет, и даже некому будет сказать: «Погибаю». Может быть, иногда приходила ему в голову, или обжигала сердце его смутная страшная мысль: нет ли в том и его вины? Сколько бы он сам ни оправдывался в том, что сделал с восставшими крестьянами, едва ли он всегда мог смотреть им прямо в глаза. Сам человек из народа, он сказал: «Народ – Сатана»; «Кровь их на мне», – сказал о тех, чья кровь текла в его же собственных жилах. Может быть, боялся он прочесть в глазах каждого из них свой приговор: «Подлец, Иуда Предатель!»

Лютер оттолкнул от себя простых людей – народ, – те бесчисленные множества, которые были внизу, под ним, а те, кто был рядом с ним, наверху – немногие, – так называемые «избранные», люди нового знания – гуманисты, – сами от него отошли; предали его так же, как он предал народ; избранные немногие отомстили ему невольно и нечаянно за многих: «Какою мерою мерите, такую и вам отмерят», – мог бы он вспомнить грозное слово Господне. Злейшими предателями его, как это всегда бывает, оказались ближайшие ученики. «Евший хлеб мой поднял на меня пяду» (Пс., 40:10). Это и над ним исполнилось.

Так, наверху и внизу, в опоясавшей Лютера зоне одиночества воздух разрядился до того, что нечем было дышать.

Кажется, страшную меру этого одиночества лучше всего дает то, что происходит между Лютером и его многолетним другом, вечным врагом, величайшим из гуманистов, Эразмом. «Он, в глубине сердца, наш враг», – это верно и глубоко понял Лютер еще в Вартбурге.[494] Но все-таки вынужден протянуть руку за помощью, мимо всех явных друзей своих, к этому тайному врагу. «Ты один из всех врагов моих понял главное в моем учении», – пишет он в тот же роковой для него год Крестьянского восстания, 1525-й, в книге «О порабощенной воле» (De serva arbitrio), отвечая на книгу Эразма «О свободной воле» (De libero arbitrio). «Ты не докучаешь мне тщетными спорами о Папе, Чистилище, индульгенциях, и тому подобных пустяках, которыми все еще меня преследуют. Ты один понял смысл борьбы и схватил врага за горло. Благодарю тебя, Эразм, от всей души!»[495]

Тайна Предопределения – тайна первородного греха – человеческой воли, некогда свободной, а потом порабощенной, есть живое, огненное сердце всей Реформы – это поняли, как тогда казалось Лютеру, только двое – он и Эразм. Бедный Лютер! Он тогда еще не знал или не хотел знать, что не Эразм «схватил за горло врага»-диавола, а диавол руками Эразма схватил за горло самого Лютера, чтобы двадцать лет душить. Этого Лютер тогда еще не понял, но скоро поймет. «Заклинаю вас всех, преданных делу Христа и Евангелия, ненавидеть Эразма! Если я буду жив, то очищу Церковь от его нечистот... Это маленький Грек, Graeculus, царь двусмысленностей, который надо всем смеется... Иуда, предающий Христа поцелуем... ядовитая гадина... отъявленный в мире негодяй».[496] В этом суде над Эразмом Лютер, по своему обыкновению, неистовствует и преувеличивает, хватая через край. Он так же не вполне справедлив к Эразму, как Фауст к призванному и уполномоченному им же самим, верному слуге своему и помощнику, Мефистофелю, когда клянет его: «Пес! Гадина!» – и надеется, с помощью Божьей, отвергнутой им же самим, «растоптать его, как ползучую гадину».[497] Но в главном суде своем над Эразмом – «царем двусмысленностей» – Лютер все-таки прав и прикасается к чему-то глубокому в религиозном существе Эразма.

Следуя за Лютером, как тень за человеком, Мефистофель за Фаустом, Эразм искажает дело Лютера, сводит в нем все трудное и глубокое к плоскому и легкому; хочет сделать из Евангелия «философию Христа» – «христианство без Откровения» – «религию честных людей» – человечески-разумное истолкование всего, что в христианстве безумно-божественно. «Чтобы сделаться христианином, – учит Эразм, – достаточно быть добрым, чистым и простым человеком; эти качества равняют человека с Христом».[498] Все наше «бывшее христианство» – удобное и безопасное, «обезвреженное», образумленное от «безумья Креста» – и есть не что иное, как христианство по Эразму.

«Мир спасется разумным сомнением», – учит Эразм. «Мир спасется безумною верою», – учит Лютер.[499] «Злейший враг Божий – человеческий разум: он – главный источник всех зол».[500] «Разум – величайшая блудница диавола».[501] «Разум наиболее противоположен вере... верующий должен его убить и похоронить». «Разум свой уничтожь – иначе не спасешься».[502] Лютер и здесь опять неистовствует и преувеличивает. Он, впрочем, и сам знает, что разум для человека здесь, на земле, «так же необходим, как похоть».[503] Но Лютер неистовствует, может быть, недаром. Он как будто предчувствует, что за Эразмом, благовестником разума, следует бесконечно сильнейший и опаснейший враг; имя его мы теперь знаем – Кант. «Все учение Христа есть учение нравственное, прежде всего», – следовательно, человечески-разумное, – мог бы сказать Эразм вместе с Кантом.

Лютер хочет «раздавить Эразма, как „ядовитую гадину“», но, может быть, предчувствует, что сам будет им раздавлен и что, если надо будет людям сделать выбор между ним и Эразмом, между безумною верою и сомневающимся разумом, то выбор будет сделан не в пользу Лютера. Он, может быть, уже предчувствует, что участь его и в будущем, так же как в настоящем, – безвоздушная пустота одиночества.

Лучший друг и любимейший ученик Лютера – гуманист Меланхтон. «Если бы я даже погиб, ничего бы не было потеряно для Слова Божия. Ты, Меланхтон, уже превзошел меня».[504] «Меланхтон сделает больше, чем множество Лютеров, вместе взятых». Немногие учителя так говорили об учениках.

Может быть, одной из горчайших минут в жизни Лютера была та, когда в 1536 году, после падения Мюнстера – другой такой же для него роковой год, как 1525-й – год Крестьянского восстания, – он впервые почувствовал, что Меланхтон, вернейший ученик его, нет, больше – сын его возлюбленный, первенец, и еще больше – брат его ближайший, как бы он сам, другой, лучший, потихоньку, трусливо, подло дрожа, плача и терзаясь, изменяет ему, предает его, целуя в уста, как Иуда, чтобы перейти от него к «отъявленнейшему в мире негодю», «ядовитой гадине», злейшему врагу его и Господню – Эразму. «Бог спасает только тех, кого хочет спасти, предопределенных, избранных, а всех остальных губит», – учит Лютер. «Нет, Бог спасает всех, кто хочет спастись, а губит только тех, кто сам хочет погибнуть», – учит Меланхтон вместе с Эразмом, и с этим согласятся все «разумные», «добрые», «честные» люди, «нравственные прежде всего» (по Канту-Эразму), и этим будет убито живое, потушено огненное сердце всего Лютерова-Павлова-Христового дела–божественно-безумная тайна Предопределения, Praedestinatio.

«Меланхтон отогреется на твоей груди, змея». «Он ждет только твоей смерти, чтобы тебе изменить», – остерегали учителя другие ученики. [505] «Нет, это было бы слишком низко», – отвечает им Лютер, и не верит. А когда поверил, никому ничего не сказал, но, вероятно, почувствовал нечто подобное тому одиночеству, которое чувствует похороненный заживо, когда, очнувшись в темноте, ощупывает стенки гроба и вдруг понимает, что случилось.

39

Хуже Меланхтона, хуже Эразма, может быть, казался иногда Лютеру другой ученик его, другая «на его сердце отогретая змея», тоже великий гуманист, Агрикола – «противозаконник», «антиномист». Делая как будто логически разумные, а на самом деле чудовищные выводы из Лютерова учения о новой свободе во Христе, отменяющей Закон Моисея, и превращая свободу божественную в человеческий бунт и своеволие. Агрикола дает как бы точнейшую химическую формулу тех разрушительных стихийных взрывов, которые наделали столько бед в Крестьянском бунте Мюнстера и наделают, как предчувствует Лютер, бед еще больше в том, что он называет «великим пожаром», а мы называем «великой социальной революцией».

«Кто отвергает Закон, пусть уничтожит сначала грехи», – обличает он Агриколу, кричит уже слабеющим, в безвоздушной пустоте или под землей в гробу, задышающимся голосом, уже почти не надеясь, что будет услышан. «В сердце нашем и в совести начертан Закон, и только диавол хотел бы его исторгнуть из них. Легкие умы думают, что достаточно услышать кое-что о Евангелии, чтобы стать христианином. Нет, познайте и ужас Закона. Благодать и надежда нужны, чтобы родилось покаяние, но и угроза нужна». «Это мы тебе и говорили, но ты не слушал», – могли бы Лютеру напомнить католики.

«Вечен закон и божественен, – продолжает он отстаивать, – Закон возвещает святую Господню; поражает и проклинает, готовя дело спасения... Закон никогда не будет отменен; он применяем к осужденным и только в святых исполнен (*impenda lex in damnatis, impleta in beatis*)». «Грешным людям отвергать Закон, без которого нет ни Церкви, ни государства, ни семьи – ничего, что делает людей людьми, – значит опрокидывать бочку вверх дном; это – невыносимое дело». [506] «Мы и это тебе говорили, но ты не слушал», – могли бы опять напомнить Лютеру католики. Это и значит: «Какую мерю мерите, такой и вам отмерится».

В 1527 году, во время тяжелой болезни, когда думали все, думал и он сам, что умирает, он воскликнул громким голосом и «заплакал так», вспоминает очевидец, «что слезы катились градом по щекам его: „О, каких только ужасов не натворят после смерти моей ложные пророки-мечтатели, второкрещенцы и другие бесчисленные бунтовщики!“ [507]

Вот когда он, может быть, понял, что значит: „Кровь их на мне“; понял, что на нем кровь не только восставших крестьян и „жалких людей“ в Мюнстере, но и всех бесчисленных жертв грядущего великого Бунта – „всемирного пожара“ – всемирной социальной революции. „О, конечно, не только на нем – и на многих других, но и на нем тоже!“

Изменник Меланхтон, изменник Агрикола; изменили или изменят, предали или предадут, большею частью невольно, невинно, и все другие ученики-друзья. „О, зачем, зачем друзья так мучают меня? Точно мало у меня врагов... Лучше бы мне и на свет не родиться!“ – жалуется Иов; жалуясь и я: лучше бы мне

никогда ничему не учить, ничего не проповедовать... Тщетно я трудился – весь труд мой даром пропал». «Если бы я знал в начале проповеди, какие враги Слова Божия люди, то молчал бы и сидел смирно». [508] «Сколько лжебратьев, отпавших от Церкви! Всякий маленький грамматик, крошечный философ только и мечтает о новых учениях... какое смятение! Никто ни у кого не учится; всякий хочет быть сам учителем... О, какое жалкое падение Церкви, преданной соблазну и немощи!» [509] «Кто же начал соблазн? Кто первый сказал: „Слово Божие во мне одном. Мне дано откровение свыше, помимо Церкви“. „Кто, как не ты?“» – могли бы напомнить Лютеру католики, [510] а может быть, и напоминать не надо: он сам помнит и знает все. «Церковь опустошена и ограблена... Даже те из государей, которые называют себя „евангелическими“, навлекают на людей гнев Божий святотатством и алчностью». «Сатана все тот же (в новой, протестантской Церкви, как и в старой, католической); вся разница лишь в том, что некогда под властью пап смешивал он Церковь с государством, а теперь государство смешивает с Церковью». [511] «Если так, то игра, может быть, не стоила свеч». «Не было ли то, что ты называешь зовом Божиим, только наваждением бесовским?» – эти страшные слова отца могли ему вспомниться в эти страшные дни. [512]

40

«Есть у Бога прекрасная колода карт, вся из королей, и одну карту Он бьет другой: так Папу побил Лютером, а потом всю колоду Он кидает под стол, как дети, которым надоело играть», – шутит Лютер и предчувствует, что скоро вся колода будет брошена под стол, потому что близится кончина мира. [513] «Я сам был трубою Архангела, возвещающей Второе Пришествие», – скажет он накануне смерти, а еще за шесть лет до нее, в 1541 году, пишет не для людей, – все равно никто ничего не поймет, не услышит, – а только для себя самого «Предположение о возрастах мира» по летописи Кариона Математика. «Мир сей просуществует шесть тысяч лет; мы уже в последнем тысячелетии, и оно не кончится, подобно тому, как Иисус не пробыл всего третьего дня в гробу. Вечер мира уже наступил. Будем ждать». [514] «Мир обветшал, как риза, и скоро изменится». [515]

Когда турки кидаются на Германию, Лютер приветствует в них «Гога и Магога», стучащихся в дверь христианского мира. В Пасху 1545 года великая Тайна Второго Пришествия исполнится, небеса и земля с шумом прейдут, праведные воскреснут в жизнь вечную. [516] Это предсказание Лютера для мира не исполнилось, но для него самого мир действительно кончился – он умер почти в тот самый год, на который предсказывал кончину мира.

«Много мы кое-чего увидим, если мир еще лет пятьдесят просуществует!» – сказал ему однажды кто-то в застольной беседе.

«Лет пятьдесят – не дай-то Бог! – воскликнул Лютер. – Наступят дни, когда так скверно будет жить на земле, что люди со всех концов мира будут вопить: „Господи, скорей бы конец!“»

И, подумав, прибавил: „Нет, пусть уж лучше все сразу кончится Страшным Судом... О, как бы я хотел, чтобы завтра же наступил конец мира!“» [517]

Летом 1545 года, месяцев за шесть до смерти, отчаявшись или как будто отчаявшись в деле своем, он думает бежать из Германии: «Лучше мне скитаться, нищим, по большим дорогам и выпрашивать хлеб свой, чем мучиться, как я мучаюсь в эти последние жалкие дни жизни моей, видя то, что происходит здесь, в Виттенберге (он мог бы сказать: „Во всей Германии – во всем христианском человечестве“), весь мой труд и тот пропал даром». [518]

«Ох, как я устал, как я устал!.. Будь что будет, пропадай все! Кончена Германия – она уже никогда не будет тем, чем была», – пишет он еще раньше, в 1542 году, за четыре года до смерти. [519] Кончена, может быть, не только Германия, но и все христианское человечество: «Я стар и очень устал... Но все еще нет мне покоя, потому что диавол неистовствует, и человечество так озверело, что мир погибает». [520] «Мир, как пьяный мужик на лошади: сколько ни подсаживай его с одного бока в седло, – все валится на другой бок. Миру помочь нельзя ничем: он хочет принадлежать диаволу». [521] И за два года до смерти: «Кажется, мир, перед концом, сошел с ума, как это бывает иногда с людьми перед смертью». [522] Кажется, весь мир – как осажденный Мюнстер, где «жалкие люди» ищут Царство Божие и находят только царство диавола.

«я обленился, устал, охладел ко всему (alt, kalt, ungestalt)... я уже ни на

что не годен, я – человек конченный... Да приложит же меня Господь к отцам моим и да предаст тело мое червям – давно пора! Я пресыщен жизнью, если только это можно назвать жизнью». «Весь этот год (1542) я был, как мертвый, и только беременил землю». [523] «Я только охладельный труп, ожидающий могилы». [524]

И в конце января 1546 года, недели за три до смерти, он написал из Эйслебена, где он родился и где умрет: «Братья, молитесь об одном для меня – чтобы дал мне Господь умереть спокойно. Когда я возвращусь в Виттенберг, то лягу в гроб и отдам жирного доктора Лютера в пищу могильным червям... Я устал от мира и покину его, как путник покидает дрянную гостиницу». [525] «Если вы услышите, что я болен, – не просите для меня у Бога ни здоровья, ни жизни. Просите только, чтобы Он послал мне тихую смерть». [526]

Дело жизни для христианина последнее и величайшее – смерть. «Делается богослов (в высшем смысле: кто обладает Словом Божиим и кем обладает оно) – делается богослов, не понимая... не созерцая, а только умирая (*Moriendo fit theologus, non intelligendo et speculando*)», [527] – учит Лютер. Как не призрачно-мнимо и не отвлеченно-умственно, а религиозно-действенно жил человек, узнается только по тому, как человек умирает. В смерти с христианином не только что-то делается, но и он сам что-то делает; не влечется на смерть, как трепетная жертва на заклинание, а сам идет на нее, как мужественный воин на врага. Именно так шел Лютер на смерть. Чтобы знать, как он жил, и все еще, может быть, живет и будет жить всегда не в одной из двух разделенных Церквей, протестантской и католической, а в будущей Единой Вселенской Церкви, – надо знать, как он умер.

41

Строит ли кто... из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, – дело каждого обнаружится... потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть.

У кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня

(1 Коринфянам, 3:12–15).

Эти слова Павла часто, должно быть, вспоминались Лютеру в последние дни жизни. Он знал, что если даже дело его сгорит, то сам он из огня спасется, потому что в этом и заключалась блаженная тайна Предопределения – тот великий Свет с неба, который озарил его еще в начале жизни, как Павла на пути в Дамаск, и уже не потухал никогда; он знал, что в деле спасения личного он строил не только себе, но и для Церкви, из «драгоценных камней», и что это дело его ни в каком пожаре сгореть не может. Но бывали, вероятно, такие минуты, когда ему казалось, что в деле спасения общего он строил только «из дерева, соломы или сена», и что это дело его уже начало гореть не только в Крестьянском бунте и в Мюнстере, а в том «всемирном пожаре» социальной революции, в котором, он предчувствовал, сгорит окончательно. В эти-то минуты и овладевало им то, что могло казаться не только врагам его, римским католикам, но и ему самому, смертным грехом отчаяния, но на самом деле было чем-то совсем другим.

Каждый христианин, вместе с Христом, восходит на крест и, умирая, нисходит в ад, чтобы, вместе с Христом, и выйти из ада – воскреснуть.

«Самоуничтожение» (*annihilatio*), «самоотречение даже до ада (*resignatio ad infernum*)», в религиозном опыте Лютера, так же, как и «темная ночь души» (*nocte oscura*) в опыте св. Иоанна Креста (*Juan de la Cruz*), и есть не что иное, как это, для всякого христианина необходимое, Сошествие в ад. [528]

Если бы мы поняли первое, сказанное людям, слово Господне – «обратитесь» (на греческом языке *straphete*, что значит – «перевернитесь, опрокиньтесь») и другое, «незаписанное» в Евангелии слово «*agrapnon*»:

Если вы не сделаете... вашего верхнего нижним, а нижнего верхним, то не войдете в царство Мое, [529]

мы поняли бы и то, что происходило с Лютером, в его как будто грешном, губящем, а на самом деле спасительном, святом отчаянии – в Сошествии в ад.

С очень большой высоты пловец кидается в море и так долго остается под водой, что неопытные в плавании зрители думают, что он утонул. Но, опустившись до какой-то последней точки и «перевернувшись», «обратившись» так, что «верхнее» для него становится «нижним» и «нижнее» – «верхним», он поднимается все выше и выше, пока не вынырнет. нечто подобное происходит и

«Целую неделю я был в таком аду, что, при одном воспоминании об этом, я весь дрожу. Я потерял Христа моего; я был Им покинут в буре отчаяния и богохульства». [530] «Вот последняя точка нисхождения пловца в глубину». Но после того как он «перевернется», «обратится», сделается она точкой его восхождения. «Это смертное борение я, кажется, терплю за многих». «В ад низводит Господь и выводит из ада... умерщвляет и оживляет. Слава Ему во веки веков». [531] Это сказано Лютером летом 1527 года, во время тяжелой болезни, от которой он едва не умер, а через десять лет, зимою 1537 года, когда он опять-таки тяжело заболел, так что смерть заглянула ему в глаза, он скажет: «Да, я умираю, Господи, врагом врагов Твоих, отлученный от Церкви и проклятый Папой Антихристом. Оба мы предстанем на суд Твой – он к вечному стыду своему, а я, жалкая тварь Твоя, исповедавшая имя Твое, – к вечной славе». [532] Лютер не говорил бы так перед лицом смерти, если бы не надеялся, что не только сам спасется, но и какая-то часть дела его будет спасена.

В 1545 году, при ложном слухе о смерти его, издана была в Неаполе книжка, сообщавшая эту радостную весть всем верным сынам католической Церкви. Книжка была очень глупая, но и люди такого великого ума, как, св. Игнатий Лойола, и такой лучезарной святости, как св. Тереза Авильская, судили о Лютере немногим лучше тех, кто писал эту книгу. Видно по ней, что ответственность за то, что произошло в христианском человечестве после второго Разделения Церквей, падет не только на протестантов, но и на католиков.

«Страшное чудо совершил Господь во славу Христа и в утешение всех сынов Церкви. Великий еретик, Лютер, скончался. Перед смертью он причастился и велел положить тело свое на алтарь, дабы почитали его, как тело святого. Но когда, вопреки этому приказу, его зарыли в землю, то в ней поднялся такой ужасный шум, как будто все силы ада столкнулись друг с другом. В воздухе же явилась частица Св. Даров, принятая им недостойно. Но только что положили ее обратно в чашу, как тот подземный шум затих. А в следующую ночь опять поднялся, еще с большею силою. Когда же, наконец, разрыли могилу, то увидели, что тело исчезло бесследно, и вышел из земли такой удушливый серый дым, что все присутствующие сделались больны, и великое множество свидетелей этого чуда вернулись в лоно святой нашей матери, католической Церкви».

Лучше, умнее и благочестивее нельзя было ответить на эту глупую книжку, чем ответил Лютер:

«Я, Мартин Лютер, заявляю, что получил и прочел эту неистовую ложь о смерти моей с большим удовольствием, кроме тех богохульств, коими приписывается подобная ложь Величеству Божию. Я радуюсь тому, что диавол, а вместе с ним и Папа и все верные слуги его, питают ко мне такую лютую ненависть. Да обратит их Господь, а если этой молитве моей не суждено исполниться, то да будет Господу угодно, чтобы враги Его не сочиняли против меня никогда ничего, кроме подобных нелепостей». [533]

Умные и благочестивые люди, каких всегда было и будет много в Римской Церкви, могли бы задуматься над этим ответом Лютера: если так говорить, умирая, о смерти – значит «погибнуть», – что же значит «спастись»?

Кажется, по веселому лицу умирающего Лютера в этом ответе можно видеть, с какой быстротой он подымается из черных вод отчаяния к солнцу надежды. Временный, бывший Лютер падет – будущий, вечный – восстанет.

42

С 1538 года, к прежней постоянной болезни его – почечным камням, – прибавились новые: кровавый понос, глухота, слепота одного глаза, одышка, опухоль ног, головокружения, обмороки. «Все это дело Сатаны, – говорил он, но, подумав, прибавлял: – Нет, просто старость». [534] «Просто смерть», – мог бы сказать, потому что верно кто-то заметил, что «люди умирают не от болезней, а от смерти, и тогда именно, когда, сами того не зная, хотят умереть». Лютер хотел смерти и мужественно готовился к ней; от всякого лечения отказывался и врачей к себе не допускал. «Эти молодцы, – говорил он, – только наполняют кладбище!» [535]

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)

В эти дни два мансфельдских графа, родные братья, Альбрехт и Эбхард, вели многолетнюю тяжбу из-за неподделанных земель, церковных имуществ и рудников. Законоведы и судьи, как жадные пиявки, присосавшись к этому делу, нарочно затягивали его и запутывали, чтобы не лишиться доходной статьи. Видя, что толку от них не будет, тяжущиеся братья в 1545 году обратились к посредничеству Лютера. Маленький городок Эйсleben, где он родился, находился в Мансфельдском графстве. Вопль бедных людей, крестьян и рудокопов, страдавших от этой бесконечной тяжбы, дошел до Лютера, и он не хотел отказать им в помощи. Друзья его возмущались, что «такого великого служителя Божия, как он, хотят вмешать в это грязное дело». Курфюрст Саксонский писал графу Альбрехту: «Доктор Мартин Лютер – больной старик; вам следовало бы его пощадить». Но сам Лютер себя не щадил. Как ни тяжело ему было таскаться по большим дорогам, ломать больные, старые кости, он все-таки решил поехать в Эйсleben. Радовался, может быть, что последним делом его на земле будет святейшее из всех дел человеческих – мир. «Если мне удастся вас помирить, дорогие государи мои, я с радостью лягу в гроб», – писал он графу Альбрехту. [536] «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Это блаженство, может быть, вспомнил Лютер перед смертью и надеялся втайне, сам того не сознавая, что эту помощью бедным людям родной земли искупит хоть малую часть тяготевшей на нем после Крестьянского бунта великой вины перед всем германским народом.

23 января 1546 года, в лютую стужу, выехал он из Виттенберга в Эйсleben. Переправляясь в лодке через еще не замерзшую, вследствие быстрого течения, и бурно разлившуюся реку Зааль, едва не утонул, а подъезжая к Эйсlebenу, едва не замерз: «Голову мне продуло холодным ветром так, что она превратилась как будто в ледяную глыбу», – вспоминает он в шутовском письме к жене. [537]

Приехал в Эйсleben совсем больной. Его уложили в постель, растерли горячими сукнами и закутали в теплые одеяла. Он глубоко заснул, пропотел и на следующее утро почувствовал себя так хорошо, что мог участвовать в переговорах с уполномоченными по делу Мансфельдских графов, а дня через два проповедовал в церкви и рукоположил, по апостольскому чину, двух священников. [538]

Жена о нем беспокоилась, ночей не спала.

«Дорогая Катерина, – писал ей Лютер, – почитай Евангелие от Иоанна и Маленький Катехизис, о котором ты однажды сказала: „В этой книге все для меня“. Ты становишься на место Бога, как будто Он не всемогущ и не мог бы создать дюжину новых Лютеров, если бы старый погиб... Есть у меня заступник могущественнее тебя и всех Ангелов на небе – Тот, кто лежит в яслях на соломе и, в то же время, сидит направо от Отца. Будь же спокойна. Аминь». [539]

Это писал он 7 февраля, а через три дня: «Милость и мир во Христе. Святейшая госпожа докторесса, мы благодарим вас бесконечно за ваше беспокойство о нас... потому что с тех пор, как вы начали беспокоиться, в доме едва не случился пожар, и большой камень, упавший при починке потолка, едва не раздавил одного из нас... Я боюсь, что если ты будешь продолжать беспокоиться, то земля под нами провалится. А впрочем, по милости Божьей, мы так здоровы, что лучше не надо... Только бы поскорее кончить все дело и, если Бог позволит, вернуться домой. Аминь. Вашей Святости слуга покорнейший, Мартин Лютер». [540]

Он жену не обманывал, чтобы ее успокоить: в самом деле, давно уже не чувствовал себя так хорошо, как в эти дни. Все болезни вдруг отступили от него, может быть, перед смертью, как приготовившие дом служанки – перед входящею в него госпожою.

В лучшей гостинице, где останавливались знатные путешественники, отведены ему были особые покои: внизу большая комната, служившая столовою и приемной, где происходили заседания уполномоченных, а наверху – спальня.

Утром он бывал на примирительных заседаниях; ровно в полдень обедал; в шесть ужинал. Часто приглашал гостей к столу. Был, или казался, веселым, и все повторял: «Как я счастлив, как я счастлив, что, перед концом, вернулся на родину!»

Может быть, вспоминал того маленького, нищего, голодного оборванца, который

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
полвека назад, на улицах соседних городов, Мансфельда и Эйзенаха, выпрашивал милостыню под окнами, с жалобной песенкой: «Дайте хлеба ради Бога! (Date panem propter Deum!)» – «Все мы перед Богом – только жалкие нищие; вот главная истина (hoc est verum)» – это были последние, его рукою написанные слова.

В восемь часов вечера вставал из-за стола и шел наверх, в спальню. Не был как будто ничем болен, но так иногда ослабевал, что его должны были вносить по лестнице на руках несколько человек – был очень грузен.

Перед тем, как лечь, открывал окно и, глядя на небо, молился, произнося иногда слова молитвы так громко, что друзья могли их слышать. Кто-то записал одну из этих молитв:

«Отче, молю Тебя, во имя Сына Твоего! Слышь меня, как Ты обещал... Ныне Евангелие Сына Твоего уже явилось людям и скоро над всем миром воссияет... Благослови, Господи, Церковь моей родной земли и сохрани ее в истине Сына Твоего, да узнает мир, что я был послан Тобой... Аминь! Аминь!»[541]

«Когда после молитвы отходил от окна, лицо у него было так радостно, как будто он сбросил с плеч тяжелое бремя», – вспоминает очевидец.[542]

14 февраля, в воскресенье, опять проповедовал в церкви, на слова Евангелия от Матфея: «Славлю Тебя, Отче, Господина неба и земли, что утаил сие от премудрых и разумных и открыл младенцам». Кончил проповедь так: «Закроем же глаза на всякую человеческую мудрость и будем держаться только слов Христа и пойдем к Нему, потому что Он нас зовет к Себе... Много еще можно было бы об этом сказать, но я устал и должен кончить. Аминь». Это были последние, сказанные им с церковной кафедры, слова.[543]

В тот же день он писал жене: «Я надеюсь быть дома на этой неделе... Бог послал нам великую милость: советники обоих государей во всем, наконец, согласились, кроме двух-трех мелких дел, которые будут решены сегодня. Оба графа, Альбрехт и Эбхард, снова сделаются братьями. Я их приглашу сегодня и сделаю так, что они заговорят друг с другом, потому что до сих пор они сидели на совещаниях, как немые идола, и только в письмах жестоко оскорбляли друг друга... Здесь все благополучно. Мы едим и пьем по-королевски и за нами ухаживают так, что мы могли бы, пожалуй, вас, Виттенбергцев, забыть... Да хранит тебя Господь».[544]

Кончив писать, натянул на себя теплый, на лисьем меху, докторский плащ, подошел к окну, открыл его и долго смотрел на голубое небо, где было уже первое обещание весны. Смотрел, как с висевших на водосточном желобе под кровельными выступами и таявших на солнце прозрачных льдинок падают светлые капли, как тихие слезы радости. Вдруг пронеслись по улице, взметая снежную пыль, большие расписные и раззолоченные, масленичные сани, с веселым звоном серебряных бубенцов под дугами и еще более веселым криком, визгом, смехом множества мальчиков и девочек. Это были сыновья и дочери, внуки и внучки двух так долго враждовавших и помирившихся, наконец, братьев.

Снова глянул он на голубое небо, и ему почудилось в нем обещание уже не временной, а вечной весны – вечного мира – царства Божьего на земле, как на небе. Жадно, всю грудь вдохнул солнечно-студеный воздух и вдруг почувствовал, что двадцать лет его душившая, мертвая петля диавола еще не развязалась у него на шее, но уже ослабела – скоро, должно быть, развяжется.

«Может быть, мир и не захочет принадлежать диаволу», – подумал он радостно, не чувствуя, как текут по щекам его тихие слезы, такие же светлые, как те капли, что падали с таявших на солнце льдинок.

43

16 февраля соглашение братьев готово было и подписано. В тот же день ему сделалось хуже, и утром, 17 февраля, он так ослабел, что по настоянию друзей и самих графов, не сошел вниз, на последнее совещание, а оставался у себя наверху, в спальне, и соглашение принесли ему наверх, в спальню, где он и подписал его радостно. Так совершилось одно из тех великих маленьких дел, на которые способны только очень немногие великие люди.

Все утро провел у себя в спальне, вместе с любимейшими учениками своими,

доктором богословия, Юстом Ионасом, и придворным священником мансфельдовских графов, Михаэлем Целием. То ходил по комнате, то отдыхал на кожаной дневной постели. Все говорил только о скорейшем отъезде в Виттенберг; все думал только об этом одном, как будто родной городок, Эйсleben, только что милый, вдруг сделался ему чужим, скучным и тошным, почти страшным. Все повторял упорно и тоскливо, как будто сам не очень верил тому, что говорил: «Домой, домой! Завтра же едем!»

Завтра ему суждено было действительно вернуться домой, но не туда и не так, куда и как он думал.

В полдень, к обеду сошел вниз. Мало ел и пил, но весело и, как всегда, увлекательно живо беседовал с друзьями, вспоминая любимые места из Писания.

После обеда несколько раз жаловался на боль в груди и удушье. Его растерли, по обыкновению, горячими сукнами, и ему сделалось легче. К ужину опять сошел в столовую, потому что, говорил, ему «легче на людях». Речь зашла о будущей жизни. «А как вы думаете, дорогой господин доктор, узнаем ли мы там друг друга?» – спросил кто-то.

«Как не узнать!» – ответил он, и глаза его загорелись тем вечно юным огнем, «ангельским» для одних и «бесовским» для других, который трудно было вынести смотревшим в эти глаза и забыть невозможно. «Как же не узнать! Вспомните, что сказал Адам? Он Евы никогда не видел; лежал и спал сном смерти, но когда проснулся – ожил, то не сказал „Откуда ты? Кто ты?“, но воскликнул: „Ты – плоть от плоти моей и кость от кости моей!“ Как же он знал, что эта женщина не вышла из земли или из камня? Он это знал, потому что научен был Духом Святым. Так же и мы, умерев и родившись вновь во Христе, будем, как первые люди в раю, и лучше узнаем...»

Что-то дрогнуло в голосе его, от чего у всех слушавших дрогнуло сердце. «Лучше узнаем друг друга, чем Адам узнал Еву!»

И, помолчав, прибавил тихо, как будто про себя, – как всегда говорил, когда чувствовал, что его не поймут: «Вот почему мы должны еще здесь, на земле, любить и жалеть друг друга так нежно, как муж любит свою жену». [545]

Вскоре после этих слов он встал из-за стола и пошел наверх, в спальню, где, по обыкновению, облокотившись на подоконник у открытого окна, долго молился, а когда вошел к нему ученик, виттенбергский гуманист и богослов Иоганн Аурифабер, обернулся к нему и сказал: «Опять боль в груди и удушье... Но, слава Богу, до сердца еще не дошло».

Тот, взглядевшись в лицо его, испугался, сбежал по лестнице и позвал наверх всех, бывших в столовой. Снова, как давеча, растерли его по всему телу горячими сукнами, и ему сделалось немного легче.

Прибежал граф Альбрехт, с редким лекарством – единороговой костью. «Как вы себя чувствуете, дорогой господин доктор?»

«Ничего, ваше высочество, немного получше».

Граф сам натер кости в порошок, развел его в вине и дал ему ложку лекарства.

Около девяти часов он прилег на дневную постель и сказал: «Если бы я только мог уснуть на полчаса, я думаю, мне было бы совсем хорошо...»

И действительно заснул тихим, естественным сном, часа на полтора. В комнате оставались доктор Ионас, магистр Целий, двое маленьких сыновей Лютера, Мартин и Павел, и слуга его Амвросий.

Ровно в десять он проснулся и, взглянув на сидевших, сказал: «А вы все еще здесь?... Зачем не ложитесь?»

«Нет, господин доктор, мы уже лучше с вами посидим», – ответил Ионас за всех.

Лютер встал, несколько раз прошелся по комнате и, подойдя к большой, ночной постели, сказал: «Ну, я теперь лягу как следует. Даст Бог...» Не кончил и, как будто с тайным страхом взглянул на постель, прошептал: «In manus Tuas

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
commendo spiritum meum! В руки Твои предаю дух мой! Ты искупил меня, Боже Истинный!»

Может быть, он сам не знал или не хотел знать, почему произносил эти слова, для него самые нужные сейчас, не на родном, немецком, а по-латыни – еще более родном языке той самой Римской Церкви, которую считал или хотел бы считать «царством Антихриста».

Лег в хорошо приготовленную постель, с нагретыми пуховиками и подушками, пожелал всем доброй ночи, ласково пожимая руку, и уже закрыл глаза, но, как будто вдруг что-то вспомнив, снова открыл их, оглянул всех и сказал: «Доктор Ионас, магистр Целий и вы все, молитесь, молитесь за Иисуса Христа и за Евангелие, потому что Тридентский Собор, с несчастным Папой, очень на них ярятся сейчас...»

Потушили свечу, чтобы не беспокоила глаза, и зажгли ночник в соседней маленькой комнатке – уборной.

Лютер уснул таким глубоким и тихим сном, как давеча. Но только что пробило час, проснулся и глухим задыхающимся голосом позвал слугу, Амвросия.

«Что вы, дорогой господин доктор? Вам опять нехорошо?» – спросил Ионас.

«Ах, Боже мой, Боже мой, как мне плохо! – простонал больной. – Дорогой доктор Ионас, я родился и крещен здесь, в Эйслебене; должно быть, здесь и умру...»

Понял, или начал понимать, куда и как «вернется домой».

Встал с ночной постели и перешел на дневную. Но долго не мог лежать – задышался. Начал ходить по комнате, томился и не находил себе места. Когда ему предложили снова давешнего, чудотворного лекарства – единороговой кости, – только рукой махнул.

Так, наконец, ослабел, что должны были снова уложить его в ночную постель.

Прибежали два поспешно вызванных придворных врача с аптекарем и графиня Альбрехт с целой корзиной лекарств, крепительных вод и бальзамов. Но Лютер от всего отказывался и просил сначала словами, а потом знаками, оставить его в покое. Иногда тихо стонал: «Ох, тяжело мне, тяжело!.. Нет, не уеду. Останусь в Эйслебене...»

Доктор Ионас, верный друг учителя, почти так же страдал, как он, когда, наклонившись к нему, пощупал рукою лоб его и, стараясь, чтобы голос не дрогнул от слез, сказал: «Досточтимый отец, молитесь Верховному Первосвященнику нашему, Господу Иисусу Христу Искупителю! Вы очень хорошо пропотели – даст Бог, вам будет лучше...»

«Нет лучше не будет... Это холодный пот смерти... Боже мой, Боже возлюбленный... Ну, ничего, надо потерпеть... Все хорошо, все хорошо будет... Ах, дорогой доктор Ионас, милый друг...»

Хотел улыбнуться, но не мог, и от этой напрасной попытки губы искривились так жалобно, что Ионас отвернулся, чтобы не заплакать.

Больной заметался в тревоге.

«Что я хотел? Что я хотел?.. Ах, да...»

Руки сложил на груди, поднял глаза к небу и тихим, глухим, но таким торжественным голосом, как в церкви, во время богослужения, начал молиться:

«Боже и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, благодарю Тебя за то, что Ты явил мне Сына Твоего Единородного, в Него же я верую, Его же исповедал я перед людьми и возлюбил, и прославил... Господи, прими бедную душу мою... Я ухожу из мира сего, Отче, но знаю, что вечно буду с Тобой, и не исторгнет меня никто из рук Твоих...»

Эту молитву произнес на немецком языке, но кончил на латинском, еще тише, торжественней: «*Sic dilexit Deus mundum*, Бог так возлюбил мир, что Сына Своего Единородного отдал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел

жизнь вечную...»

И лицо его просветлело, как всегда после молитвы, точно он сбросил с себя тяжелое бремя.

44

В комнату умирающего и во все другие покои в доме набилось множество народа: кроме старшего графа Альбрехта с графиней, младший граф Эбхард, тоже с графиней, и все остальные графы Мансфельдские – Филипп, Воллрадт, Иоганн – и яснейший князь Ангальтский с княгиней, и владетельный граф Шварценбургский с графиней, и какие-то придворные советники, и никому не известные люди с жадно-любопытными лицами, может быть, гробовщики. В спальне, и без того уже слишком натопленной, сделалось так душно, что и здоровым трудно было дышать – каково же умирающему.

Как это почти всегда бывает в доме, где смерть, люди вели себя глупо, жалко и непристойно. Чувствовали, что надо что-то сделать, но не знали что. Только суетились без толку, метались, шепотом переговаривались и все чего-то стыдились так, что неловко было смотреть друг другу в глаза, как будто чувствовали, что виноваты в чем-то перед умирающим.

Больше всех суетилась графиня Альбрехт, старая, молодящаяся женщина, с надменным и придурковатым лицом; требовала все, чтобы больного растерли какой-то летучей мазью и дали ему одного из множества принесенных ею лекарств, и злобно шептала, что если этого сейчас же не сделают, то она ни за что не отвечает и БОГ их всех за это накажет.

Наконец, по ее настоянию, один из врачей влил почти насильно в рот умирающему ложку лекарства, такого драгоценного и чудотворного, что его давали только в самых крайних случаях. Но ему сделалось от него еще хуже. Он опять заметался и простонал: «Не надо... оставьте... Разве не видите... я сейчас... я сейчас...»

Что-то хотел сказать и не мог, искал и не находил слов. Вдруг нашел и радостно, поспешно зашептал: «Pater, in manus Tuas, Отче, в руки Твои предаю дух мой!»

Все повторял, как будто ненасытимо-жадно пил лекарство, утоляющее всю муку жизни и смерти: «Отче, в руки, в руки Твои... Искупите! Искупите! Искупите-и!»

И умолк, затих. С ним заговаривали, спрашивали о чем-то, но он не отвечал, как будто не слышал.

И все вдруг затихли, замерли, как будто поняли что-то. Но все еще не знали, что делать. Знал один только Ионас. Он подошел к изголовью постели, так же, как давеча, наклонился к умирающему и крикнул ему на ухо повелительным голосом: «Достоочтимый отец! Умираете ли вы, веруя в Иисуса Христа, Сына Божия Единородного и во все, что вы проповедывали?»

«Да», – ответил умирающий таким внятным голосом, что все услышали, и всем показалось, что, хотя голос этот прозвучал здесь еще, на земле, но тот, кто ответил, был уже не здесь, а там, и голос его донесся оттуда. И это было так чудно и страшно, что люди не могли этого вынести. Снова засуетились, заметались, чтобы скрыть от себя суетой слишком грозное величие того, что перед ними совершалось. Но уже не могли помешать умирающему сделать последнее, величайшее дело жизни. Медленно подымался нырнувший пловец из темной глубины, все выше, выше и, вынырнув, увидел солнце. Медленно развязываясь на шее, мертвая петля слабела, слабела и, наконец, развязалась совсем. Всей грудью вздохнул он, как тогда, у открытого окна, слушая веселый звон колокольчиков под дугами коней и еще более веселый детский смех в пронесившихся по улице санках. Он смотрел на райское, голубое февральское небо, где было обещание вечной весны.

Было три часа пополудни после того, как ответил «Да». Он, повернувшись на правый бок, как будто уснул так спокойно, что начали снова надеяться. Но врачи говорили, что нет надежды, и часто подносили ко рту его свечу, чтобы знать, дышит ли он.

Вдруг лицо его побледнело, кончик носа заострился, руки и ноги оледенели. Он глубоко и тихо вздохнул, и это был его последний вздох. Пламя свечи,

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
поднесенной ко рту, осталось неподвижным.[546]

«Все мы свидетельствуем, – сказано было в составленной тремя очевидцами, Юстом Ионасом, Иоганном Аурифабером и Михаэлем Целием, точной записи о блаженной кончине Мартина Лютера, – все мы свидетельствуем, по совести, что он почил в мире Господнем, как бы не чувствуя смерти, так что на нем исполнилось слово Евангелия: „Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдает слово Мое, тот не увидит смерти вовек“» (Иоанн, 8:51).

Добрые и умные люди из римских католиков, читая эту запись, могли бы задуматься: если бы Лютер был действительно тем, за кого они почитали его – «врагом Божиим», «сыном дьявола», – то мог ли бы он так умереть, как умер?

Тело его положили в свинцовый гроб, чтобы везти в Виттенберг домой. Толстое, жирное лицо его, с двойным подбородком на кружевном воротничке белой, в мелких складках, ночной рубашки, напоминало старую, очень уставшую от дневной работы и сладким сном, наконец, уснувшую тюрингскую бабу-работницу (Портрет Лютера в гробу, писанный Лукой Фортеннаглем, Lucas Fortennagel).[547]

По всем городам и селениям от Эйслебена до Виттенберга бесчисленные толпы народа встречали похоронное шествие Лютера. Плакали колокола в небе и люди на земле: «Умер великий пророк Божий, Мартин Лютер!» Так назовет Лютера в надгробной речи над ним Юстус Ионас.[548]

Кто он такой – «ересиарх», как думали римские католики, или «Апостол», как думали протестанты; великий грешник или великий святой – это решится не на человеческом, а на Божьем суде, по чудному слову Лютера: «Страшен Ты, Господи, для святых Твоих, потому что для Тебя одного святые они или грешны». [549] Но для людей не это главное, а то, что поняли простые люди из народа, может быть, даже те, кого он так кроваво-жестоко обидел в Крестьянском восстании. Плача над гробом его, они простили ему эту обиду и поняли, что самый нужный, близкий и родной для них человек – такой же несчастный и грешный, как все они, но Христа любивший и в него веровавший так, как никто из них, – Мартин Лютер.

45

Что он сделал, это можно понять, только увидев сквозь внешнее, временное лицо его внутреннее, вечное, потому что у каждого человека – два лица, и чем религиозно-глубже человек, тем внутреннее лицо его противоположное внешнему.

Алкивиад говорил о Сократе, что он похож на одного из тех груботоченых из дерева или слепленных из глины, безобразных Силенов, которые служат иногда ларцом для изваяний, из слоновой кости и золота, прекрасных Олимпийских богов. Можно бы сказать то же и о Лютере.

«Страшные глаза у него, пронзительные и с таким жутким блеском, unheimlich, что кажется иногда, что это глаза бесноватого», – вспоминает очевидец, после долгой, спокойной и почти дружеской беседы с Лютером.[550] Стоит только взглянуть в резанный на дереве Лукою Кранахом, в 1520 году, портрет Лютера – в это каменно-грубое, тяжелое, костлявое, широкоскулое лицо, с косым разрезом узких, как щелочки, по-волчьи сближенных глаз, – чтобы почувствовать, что в минуты бешенства, когда лицо, наливаясь кровью, густотемно краснело, как раскаленный докрасна чугунок, оно могло бы, в самом деле, походить на «лицо бесноватого».[551]

Древнюю и новую, вечную силу беса, владевшую Лютером, мы знаем: «Тевтонская ярость» (Furor teutonicus), и страшное лицо его мы видели. Вся европейская цивилизация едва не сделалась в первой Великой Войне, и если суждено быть Второй, то, вероятно, сделается жертвой этой, свойственной германскому племени, разрушительной силы. Лютер, как все великие люди, народен и всемирен, а в добре и во зле только народен, или, как мы говорим недобрым словом о недобром деле, – «национален». И в этом величайшем зле своем – «Тевтонской ярости» – он чистейший тевтонец-германец.

Темный луч первородного греха, преломясь, как в призме, в каждой человеческой личности, окрашивается в особый цвет. Первородный грех Лютера – недостаточное чувство меры – воля к безмерности, и порождаемый этой волею, владеющий Лютером бес «Тевтонской ярости».

Это зло для него тем опаснее, что он считал его добром. «Лучше всего я говорю и пишу во гневе... Чтобы хорошо писать, молиться, проповедовать, мне надо рассердиться». [552] «Я глубоко необуздан, неистов и очень воинственен; я рожден для того, чтобы бороться с бесчисленным множеством чудовищ и диаволов». «Мне надо выкорчевывать деревья, выворачивать камни... пролагая новые пути в диких чащах лесных». [553] «Я, Мартин Лютер, буду сражаться молитвами, а также, если нужно, кулаками». [554] Правило опасное: от Лютера к Гитлеру – от молитвы к кулаку.

Кажется, в минуты просветления, сам Лютер сознает, что его безмерная безудержность – не добро, а зло, не сила, а немощь. «Сколько раз я себе говорил, что для научения мира мне бы надо быть сдержанней в речах, спокойнее, пристойнее, но, видно, Бог меня для этого не создал». [555] «Я слишком горяч – это я сам знаю. Но зачем же дразнят они (католики) пса на улице? Гнусные богохульства их возмутили бы и каменное сердце». [556] Но эти минуты просветления слишком редки и мимолетны; слишком часто забывает он мудрые слова Писания:

Язык – огонь... он восплаляет круг жизни, будучи сам воспален от геенны. Ибо всякое естество зверей... укрощается... естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может; это – неудержимое зло (Иаков, 3:6–8). Только что блеснет в нем сознание, как опять потухает и, предаваясь воле к безмерности, он воспламеняет огнем языка весь круг жизни, своей и чужой.

Злейшие враги его не могли бы повредить ему больше, чем он сам себе вредит такими словами, как эти: «Сам Сатана изверг на залитый кровью Рим свою огромную нечистоту – Папу». [557] Или эти: «Надо бы добрым христианам омыть руки в крови папских приспешников... и вытянуть им богохульные языки до самого затылка». [558] Это же не человеческая речь, а звериный вой или крик бесноватого.

Но прежде, чем его за это судить, надо вспомнить, что он только говорит, а враги его говорят и делают; что он и капли крови не пролил, а сколько они пролили – не сосчитать. Надо вспомнить и то, что он искупил свой грех тою двадцатилетнею мукой медленной смерти, о которой он скажет: «Я никому, ни даже злейшим врагам моим, не пожелал бы страдать, как я страдаю».

«О, если бы Лютер умел молчать!» – чуть не плачет Меланхтон; и Кальвин молится: «О, если бы Лютер умел владеть собою! Дай-то ему Бог утишить так неистово в сердце его бушующие бури!» [559]

Но никто не молился тогда и теперь еще не молился самой нужной молитвой, чтобы Римская Церковь увидела, наконец, не это временное, внешнее, а внутреннее, вечное лицо Лютера. Если бы увидела – сколько бед избегло бы христианское человечество и как приблизилось бы к Царству Божьему!

Нет никакого сомнения, что бывали такие минуты, когда Лютер обращался к Римской Церкви именно с этими вечными вопросами. В 1530 году, в «Увещании к людям Церкви на собрании государственных чинов в Аугсбурге», он говорит: «Мы (протестанты) предлагаем вам (католикам) сделать все, что нужно для восстановления мира в Церкви... Мы, благочестивые „еретики“, – ваши лучшие перед людьми и Богом заступники... Вам не обойтись без наших молитв». [560] и в 1537 году, во время тяжелой болезни, когда думал, что умирает: «О, как обрадуются... все друзья Папы, когда я умру! Но радость их будет обманчива, потому что они потеряют во мне своего усердного молитвенника и ходатая перед людьми и Богом». [561] «Сколько раз заставлял я его молящимся за Церковь, с воплем, с плачем, с рыданием!» – вспоминает очевидец, думая, что Лютер молится только за протестантскую Церковь. Может быть, он это и сам думал, но бывали минуты, когда он так же молился и за Римскую Церковь; это видно по таким словам, как эти: «Люди нечестивые видят в Церкви только грехи и немощи; мудрые мира сего соблазняются ею, потому что она раздраема ересями. Чистая Церковь, святая, непорочная – голубица Господня – и грезится им. Такова она и есть в очах Божьих, но в человеческих – подобна Христу, Жениху своему, презренному людьми, поруганному, избитому, оплеванному и распятому». [562] Надо быть слепым или ослепить себя ненавистью, как это делали тогда и теперь все еще делают римские католики, чтобы не увидеть в этих словах Лютера сквозь временное, внешнее лицо его – внутреннее, вечное.

«Близкие к нему знают, какой он добрый человек», – вспоминает Меланхтон.

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)

«Если с врагами своего учения он иногда груб и даже, как будто, жесток, то не по злобе, а по страстной любви к истине». [563] Это вечное, доброе лицо Лютера мог видеть тот нищий студент, которому отдал он потихоньку от жены последнее, что было в доме, – серебряный кубок, потому что, не желая брать ни платы за свои сочинения от издателей, ни жалования за должность священника, он сам часто нуждался. «Надо бы ему глотку заткнуть сотней червонцев!» – предлагал кто-то из взяточников римской курии. «Нет, не заткнешь, – возразил другой. – Эта немецкая скотина презирает деньги. Сколько ни давай, не возьмет!» [564] В голосе Лютера, когда он говорит «деньги внушают людям презрение к Богу», слышится голос св. Франциска Ассизского. [565]

Второе лицо Лютера могли видеть чумные в опустевшем Виттенберге, откуда разбежались все и где Лютер сделал дом свой больницей чумных, а когда друзья советовали ему бежать, отвечал: «Мир, полагаю, не рушится, если погибнет брат Мартин... Место мое здесь». [566]

Вечное лицо его могли видеть и два злейших врага его: гнусный купец Отпущений, Иоганн Тецель, когда, умирая, всеми отверженный, последнее слово утешения услышал он от Лютера; и первый поджигатель Крестьянского бунта, Карлштадт, когда обнищавшего и всеми гонимого, принял его к себе в дом. [567]

Если бы ученики св. Франциска Ассизского видели, как однажды, на охоте в Вартбурге, Лютер спрятал в широкий рукав плаща своего маленького зайчика, полузатравленного псами, то, может быть, узнали бы в лице брата Мартина то самое, чем светилось лицо Блаженного – неутолимую жалость ко всей живой твари. [568]

Но лучше всего могли видеть это вечное лицо Лютера маленькие дети. Трехмесячного сына, Мартина, он держит на коленях, беседует и играет с ним, как маленький с маленьким. [569] «Я бы хотел, – говорит он, – умереть в этом возрасте; я отдал бы за такую раннюю смерть всю настоящую и будущую славу мира... Дети – точно пьяные: знают, что живут, но всегда спокойны и радостны; все для них – игра и веселье». [570] «Милые дети, я хорошо знаю, что мне надо бы учиться у вас». [571] «Я – дитя, нуждающееся в молоке, а не в твердой пище». [572] «Отче наш для меня все еще, как для грудного младенца молоко матери: я его сосу и не могу насосаться». [573]

Маленькая дочь его, Ленхен, умерла у него в руках. Когда ее клали в гроб, он сказал: «Ты воскреснешь из мертвых, милое дитя мое, и будешь сиять, как звезда, как солнце... Дух мой счастлив, но мучается плоть, потому что не может принять смерти... Я скорблю безмерно, хотя и знаю, что проводил на небо святую». [574]

Вечно-женственное  
влечет нас туда, –  
«к небу», – скажет Гёте, а Лютер мог бы сказать: «К небу влечет нас Вечно-Детское».

Он понял, что значит:

Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Матфей, 18:3).  
Понял бы он и это «незаписанное» в Евангелии слово Господне, Аграфон:

Я был среди вас с детьми,  
и вы не узнали Меня.  
Ищущий Меня найдет среди семилетних детей,  
ибо Я, в четырнадцатом Эоне скрывающийся, открываюсь детям. [575]  
Это Лютер не только понял, но и сделал. Вот первый ответ на вопрос о деле его: он снова вернул христианство от человеческой сложности к простоте божественной, от Суммы Теологии к Евангелию, как бы влил юную кровь в тело стареющего христианства, и все оно вдруг помолодело, а с ним и весь христианский мир. Кажется, что папе Льву X тысяча лет, а Лютеру десять или даже шесть.

Зная, что самое простое детское – самое глубокое в мире, он вплетает в грубую серую ткань повседневной жизни золотую нить простейших и глубочайших знамений, символов, тех самых, что называются в Евангелии «притчами».

«О, если бы я умел молиться с такою же надеждой, с какой этот пес глядит на меня!» – говорит он, сидя за столом и держа кусок мяса в руке над головой домашнего пса. [576]

Детски-просто говорит о таинственной загадке мира и Бога – происхождении зла: «первородный грех помутил наш разум и исказил наши чувства; после грехопадения Адама люди смотрят на мир, как сквозь темные очки». [577]

«Ах, какой только грязи и какого смрада не терпит от людей Господь, когда ропщут они на Него и богохульствуют!» – воскликнул он однажды, запачканный грудным младенцем, сыном своим, которого держал на коленях. [578]

Лучше, может быть, иногда по таким мелочам, чем по большим событиям в жизни, видно, чем каждую минуту живет человек и дышит.

Мудрым, как с опытом старика, детям понятны такие притчи, как эта: «Люди грядущих веков, храните бедную свечу Господню, потому что диавол не стоит и не дремлет. Я вижу издали, как, надувая щеки докрасна, он дует в нее и бесится. Будем же хранить от него чуть теплящийся в мире огонь Господень!» [579]

46

Главное, чем светится внутреннее, может быть, более, чем только человечески, – ангельски-прекрасное лицо Лютера, – смирение.

«Если вы хотите быть друзьями моими, умоляю вас, не возвеличивайте меня... и не хвалите ни в моем, ни в чужом присутствии». [580] «Я, Мартин Лютер, ничего не сделал; сделало все только мною проповеданное Слово Божие». [581] «Что такое Лютер? Все мое учение – не мое, а Христово... Мне ли, праху и тлену, давать имя свое (Лютеране) – детям Божьим?» [582] Это говорит он друзьям, а врагам, святейшим отцам-инквизиторам, скажет: «Жгите книги мои на здоровье... Сам я мало забочусь о них и вовсе не радуюсь тому, что их много читают. Я хотел бы, чтобы они совсем исчезли, потому что они смутно и плохо написаны, хотя я и желал бы, чтобы сказанное в них узнали все». [583] Это – в самом начале проповеди, а в самом конце: «Я хотел бы, чтобы книги мои были навсегда забыты и заменились лучшими». [584] Кажется, так о себе не говорил никто из великих писателей.

«Людам я кажусь ученым богословом, но сам я чувствую, что не умею прочесть и Отче наш как следует». [585] «Горе мне! Я не могу верить так твердо, как проповедую... и как обо мне думают люди. Я отдал бы все в мире за то, чтобы самому понять то, чему я учу других... Я мучаюсь оттого, что так мало верю... Но ведь вот, все-таки верю и слышу: „Довольно тебе благодати Моей; сила Моя совершается в немощи“». [586] «Вместо веры, в душе моей – одна пустота», – признается он в самую решительную минуту жизни, почти накануне Вормса. [587] Вот главная сила Лютера – искренность, правдивость бесконечная перед собой, перед людьми и Богом. «Знаешь ли то, что значит: Бог всемогущий?» – спрашивает он одного саксонского крестьянина, которого учит Катехизису. «Нет, не знаю», – отвечает тот. «Этого, мой друг, и я не знаю, – признается Лютер, – да и все мудрецы мира этого не знают. Верь же просто, что Бог тебе хочет добра, как отец – сыну». [588]

Один священник жаловался Лютеру, что сам иногда не верит тому, что проповедует другим.

«Слава Богу! – радостно воскликнул Лютер. – А я было думал, что один мучаюсь так!» «Это утешительное слово Лютера священник вспоминал до конца дней своих». [589]

«Верую, Господи! помоги моему неверию» (Марк, 9:24) – этого никто не чувствовал сильнее и не сказал и не сделал лучше Лютера.

«О, как бы я хотел понять, что значат эти первые слова христианского вероисповедания: „Верую в Единого Бога Отца, Творца неба и земли!“ Но перед этим я все еще, как учащееся азбуке дитя. Этого, впрочем, не понимают и мудрейшие люди в мире; этому учились Адам, Ной, Авраам, Давид и все пророки, как глупые школьники». [590]

«Всякого научения начало есть удивление», – учит Платон, и если не сам Иисус, то, вероятно, кто-то из ближайших к нему учеников, тому же учит в

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
этом «Незаписанном Слове» Господнем – Аграфу:

К высшему Познанию (Гнозису) первая ступень – удивление. Ищущий да не покоится, пока не найдет; а найдя, удивится; удивившись, восцарствует, восцарствовав, упокоится.[591]  
Дети, как первые люди в раю, всему удивляются в мире, в себе, в Боге: вот почему взрослым надо «обратиться» и сделаться снова детьми, чтобы вернуться в потерянный рай – удивление – Царство Божие. Это Лютер понял и сделал.

«Лет до двадцати я в глаза не видел Св. Писания, – вспоминает он. – Когда же, наконец, увидел в Эрфуртской монастырской библиотеке, то прочел его с великим удивлением».[592] С этого все и началось в жизни Лютера и в деле его – с удивления. Вечно-детское в нем есть вечно-удивляющееся миру, человеку и Богу. После тысячелетнего забвения он первый вспомнил и напомнил людям, что «нет ни одной религии, столь безмерной, крайней, за все границы переступающей, extravagans, как христианство».[593] «Христианство – странно, удивительно (le christianisme est etrange)», – это мог почувствовать Паскаль только потому, что до него почувствовал Лютер.

«Дивен Бог во святых Своих – удивлением, и это знают только они, в том безумии Креста, которым соблазняют мир».[594]

В Римской Церкви христианство, перестав быть удивительным, перестало быть самим собою. Папа Лев X меньше всех удивляется христианству, а больше всего – Лютер. Словом Божьим, как бы дыханием Божественных Уст, сдувает он с человеческих глаз пыль тысячелетней привычки – не удивление – главное, что мешает людям увидеть Евангелие. Мир, в благочестии Лютера, опять удивился Христу. Лютер снова тронул Богом сердце мира по живому месту.

47

Самое удивительное в христианстве для Лютера – то, что Бог воплотился в человеке – родился, жил и умер, как человек. «Бога, во всем Его величии, не может знать никто; вот почему Он сам уничтожил Себя до презреннейшего вида, став человеком, – немощью, смертью, грехом. О, как Он пал! Кто этому поверит? Кесарь могущественнее, Эразм ученее, какой угодно монах праведнее... Вот почему дела Человека Иисуса так несказанны и удивительны».[595] «Когда Он говорит и о былинке лесной, то открывает уста шире неба и земли».[596] «Лучше пасть со Христом, чем победить с Кесарем».[597] «Христос, как один из тех малых червей, что и самое твердое дерево точат: телом Он слаб, по виду ничтожен и презрен... Но слабость Его такая, что Он одолеет ею нечестивых, грех и смерть победит, восторжествует над адом и дьяволом».[598] «Мир хочет поглотить Христа, но будет им поглощен».[598]

«К Богу никто не может прийти, стараясь понять всемогущество Его и премудрость, а только понимая милость Его и благодать, явленные Им во Христе».[599] «Снизу должно всегда начинать, думая о Боге (Отце), – с Иисуса Христа, в Его воплощении и в страданиях; только в них мы находим Отца. Кто же начинает сверху (с Бога Отца) – тот ломает себе шею».[600] «Я повторяю и всегда буду повторять: кто хочет возвыситься до такой мысли о Боге, которая может спасти человека, – должен все подчинить человечеству Иисуса Христа».[601] «Всюду, где страдает человек, – Иисус страдает в нем».[602]

Здесь, в религиозном опыте Лютера, впервые открывается снова в Сыне Божьем Сын Человеческий, во Христе – Иисус. Церковь помнит Сына Божьего, а Сына Человеческого почти забыла; если же и помнит, то не в живом религиозном опыте, а лишь в мертвом догмате. Так же как отрекающийся Петр, говорит и вся Римская Церковь Петра: «Не знаю человека сего (Марк, 14:71) – знаю только Сына Божия»; а если и не говорит, то делает так, что могла бы это сказать:

Те, кто со Мной, меня не поняли.  
Qui mecum sunt, non me intellexerunt,  
по незаписанному в Евангелии слову Господню.[603]

Весь религиозный опыт Церкви движется сверху вниз, от неба к земле, от Бога к человеку: весь опыт Лютера движется обратно – снизу вверх, от земли к небу, от человека к Богу.

Вот третий ответ на вопрос, что сделал Лютер: «Снова мы нашли Христа», или

точнее – «Снова мы нашли Иисуса во Христе, Сына Человеческого в Сыне Божьем». [604]

Верно и глубоко понял Гёте: «Мы еще не знаем всего, чем обязаны Лютеру и Реформации. С ними могли мы, вернувшись к истокам христианства, постигнуть его во всей чистоте. Снова мы обрели мужество твердо стоять на Божьей земле и человеческую природу свою чувствовать, как дар Божий». [605]

И наконец, последний и для людей нашего времени главный ответ на вопрос о деле Лютера не только в прошлом, но и в настоящем и в будущем.

Борются во мраке Ледниковой ночи допотопные чудовища – ихтиозавры и мамонты, а между ними ходит заблудившаяся маленькая девочка. Если одно из чудовищ растопчет ее исполинской пятой, то не почувствует. Эти чудовища – так называемые «тоталитарные» государства наших дней, а заблудившаяся между ними девочка – человеческая Личность. Ее-то и спасает Лютер.

В первой и глубочайшей точке своего всемирного опыта он восстанавливает порванную или оживляет омертвевшую связь личности человеческой с Божественной Личностью Христа; внешнее, церковное, общее, делает снова внутренним, единственным, личным. «То, что происходит между Ним (Иисусом) и мной», – не между Ним и всеми, а только между Ним, Единственным, и мной, через Него и в Нем тоже единственным, – вот первая точка всего, что делает Лютер. [606] «Я должен сам услышать, что говорит Бог». [607] «Я получил Евангелие не от людей (от Церкви), а от самого Христа». [608] «Мысль, будто бы вера в Евангелие должна родиться от веры в Церковь, что власть Евангелия (Христа) подчинена папской (церковной) власти, – есть превратная, еретическая мысль». [609] «Верующий не должен отступать (от Христа)... если бы даже истинная вера осталась в нем одном». [610]

И там, где человек один, Я с ним, – по незаписанному в Евангелии слову Господню. [611] Это и значит: первая точка Церкви есть «то, что происходит между Ним и мной», – между Христом, единственной Личностью Божественной, и личностью человеческой, во Христе тоже единственной.

Церковь от Христа, а не Христос от Церкви – это после тысячелетнего забвения Лютер первый вспомнил и напомнил людям так, что они уже никогда не забудут.

На высшей точке жизни своей, в Вормсе, пред лицом всего христианского человечества, на вопрос «отрекается ли он от того, что проповедовал» он ответил: «Нет!» И в последнюю минуту жизни, пред лицом Божьим, на вопрос, умирает ли он, веруя во все, что проповедовал, Лютер ответил: «Да!»

В мире наших дней, одержимом волей к безмерности – к рабству, – все, кто ожидает божественного исполнения человеческой личности в будущей Церкви Вселенской, в Третьем Царстве Духа – свободы, – услышат когда-нибудь это сказанное Лютером Христу Освободителю, в жизни и смерти, вечное Да, с такою же радостью, с какой погребенные заживо слышат стук разрывающего могилу заступа; все они когда-нибудь узнают, что Церковь Вселенская будет, потому что Лютер был.

26 апреля 1938

Примечания

1

Goethe, *wilhelm Meister*, II, Kap. II.

2

Dante. *Inferno* III, 60.

3

Michelet, *Memoires de Luther*, 1837, 1, 53, 75.

4

Kuhn, Luther, sa vie et son oeuvre, 1883, 1, 78.

5

Kuhn, I, 292, 345.

6

Kuhn, III, 253.

7

Kuhn, I, 495, 533.

8

см. сноску выше.

9

Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, 1842, XI, 50.

10

Kuhn, III, 382, 387.

11

Kuhn, I, 382.

12

Kuhn, II, 290.

13

Kuhn, III, 387.

14

Kuhn, I, 10.

15

Michelet, II, 304.

16

Kuhn, I, 193–194, 126.

17

Kuhn, I, 437.

18

см. сноску выше.

19

Kuhn, II, 94.

20

реформа

21

Лютеровой тяжбе с Церковью

22

Kuhn, I, 453, 392.

23

Иисусом

24

см. сноску выше.

25

Strohl, 83, 81.

26

см. сноску выше.

27

Febvre, 174.

28

Strohl, p. 83.

29

человеческой

30

в Церкви

31

Kuhn, I, 370.

32

от Христа

33

Strohl, Epanouissement de la pensee religieuse de Luther, 1924, p. 302.

34

Grenfeld and Hunt, The Oxyrhynchus papiro, I, p. 9, lin. 23-30 – Resch, Agrapha (Аграфы (греч.) – не записанные слова Господни).

35

протестанты

36

праведную

37

истинное

38

Kuhn, III, 280.

39

Brentano, Luther, 1933, p. 290.

40

Kuhn, I, 359, 358-359.

41

см. сноску выше.

42

см. сноску выше.

43

см. сноску выше.

44

см. сноску выше.

45

в лице Гуса

46

De Wette, I, 424 – Kuhn, I, 393.

47

Kuhn, III, 140.

48

Kuhn, I, 356.

49

Booth, Luther, trad. franc., 1934, p. 218.

50

Kuhn, I, 459, 461, 463, 462.

51

см. сноску выше.

52

см. сноску выше.

53

см. сноску выше.

54

W. Monod, 146.

55

Michelet, II, 195.

56

Kuhn, II, 168.

57

Eckermann, Gespräche mit Goethe, I, 95 – 4 januari 1824.

58

Лютера

59

Michelet, II, 196.

60

Strohl, Epanouissement, 292, 162.

61

Fevre, 273.

62

см. сноску выше.

63

в новой протестантской церкви, и в католической

64

Brent, 333.

65

Kuhn, II, 362, 461.

66

см. сноску выше.

67

Kuhn, I, 501; I, 333.

68

Kuhn, III, 267. Luther Colloquia, ed. Bundseil, I, 15.

69

Funck – Brentano, 37, 245.

70

Kuhn, III, 236–237.

71

Kuhn, II, 480.

72

Eckermann, II, 9 – Marz, 1828.

73

Eckermann, II, 284 – 11 Marz, 1832.

74

Kuhn, II, 385.

75

Alb. Mason, Erasme, 1933, p. 130.

76

Сенкевич, Камо грядеши?

77

у Бога

78

СКВОЗЬ СИТО

79

ПОКАЯВШИСЬ

80

allos

81

ПОКАЯВШИСЬ

82

Johan, 2. 19 Inf., XXII, 122, 123.

83

Michalet, I, 265.

84

Петра

85

Павел

86

Gal., 2:11; Epist. Petri (II. 5).

87

Conference on Faith and Order, Edinburgh, 1937.

88

см. сноску выше.

89

см. сноску выше.

90

Monod, Du Protestantisme, 1928, p. 239.

91

Monod, 171.

92

Ассизский, I, 24.

93

Павел – Августин, 116.

94

Kuhn, III, 386.

95

Флорского

96

Kuhn, I, 294.

97

Kuhn, II, 385.

98

Франциск Ассизский, I, 38.

99

Kuhn, I, 12–17, 33, 20–23, 23, 27

100

см. сноску выше.

101

см. сноску выше.

102

см. сноску выше.

103

см. сноску выше.

104

Stroh1, 20.

105

Kuhn, I, 22, 22–23, 128.

106

см. сноску выше.

107

см. сноску выше.

108

Stroh1, 29.

109

Kuhn, I, 26.

110

Michelet, II, 174.

111

Febvre, 19.

112

Kuhn, I, 26.

113

Kuhn, I, 24; Stroh1, 21.

114

Kuhn, I, 25.

115

Brentano, 31.

116

Kuhn, I, 29; Stroh1, 25–26.

117

Kuhn, I, 28–29; Booth, 21–23 – Brentano, 23–24.

118

Kuhn, I, 30–31.

119

St. August., Contra Academ., I, 1, 2.

120

Mathesius, Das Leben Dr. Martin Luthers, 1817, ch. I; Kuhn, I, 31–32.

121

Tischreden, 1848, IV, 75.

122

Kuhn, I, 32, 37.

123

см. сноску выше.

124

Brentano, 23, 29.

125

см. сноску выше.

126

Kuhn, I, 42.

127

Propos de table, I, 19; Luther d'apres Luther, 201.

128

Kuhn, III, 261.

129

Brentano, 244.

130

Brentano, 239.

131

Kuhn, I, 43.

132

Kuhn, I, 46; Brentano, 33; Booth, 41.

133

Kuhn, I, 57; Brentano, 41.

134

Августин, 225–226.

135

Kuhn, I, 461.

136

Strohl, 37, 44

137

см. сноску выше.

138

Kuhn, I, 55; Strohl, 27.

139

Brentano, 53, 37.

140

см. сноску выше.

141

Cochleus, Comment. de actio et scriptis Lutheri, 1549, p. 16; Kuhn, I, 55.

142

Strohl, 44.

143

Kuhn, I, 56; Brentano, 41; Strohl, 40.

144

Kuhn, I, 90.

145

Kuhn, I, 95; Booth.

146

Bochmer, Luthers Romfahrt.; Strohl, 61.

147

Kuhn, I, 97.

148

Strohl, 63; Booth, 80.

149

Brentano, 12–13.

150

A. Mason, Erasme, 141.

151

Kuhn, I, 98.

152

Michelet, II, 304.

153

Kuhn, I, 53, 101, 100.

154

см. сноску выше.

155

см. сноску выше.

156

см. сноску выше.

157

Brentano, 15.

158

Kuhn, I, 101; Brentano, 17.

159

Brentano, 245.

160

Strohl, 45.

161

Brentano, 36, 203.

162

СМ. СНОСКУ ВЫШЕ.

163

Kuhn, I, 68, 43.

164

СМ. СНОСКУ ВЫШЕ.

165

Luther d'apres Luther, 107.

166

Strohl, 83, 76-77, 83, 77-78.

167

Христе

168

СМ. СНОСКУ ВЫШЕ.

169

СМ. СНОСКУ ВЫШЕ.

170

СМ. СНОСКУ ВЫШЕ.

171

Luther d'apres Luther, 107.

172

Strohl, 78.

173

Brentano, 83.

174

Strohl, 72; Opera ed. Erlangen, LVIII, 404.

175

Strohl, 78.

176

Kuhn, I, 76, 75, 68.

177

см. сноску выше.

178

см. сноску выше.

179

Febvre, 63.

180

Strohl, Eran, 82, 10.

181

см. сноску выше.

182

Febvre, 159.

183

Maritain, Trois Reformateurs, 1925, 289.

184

Ibidem, 290–291.

185

Maritain, 291.

186

Strohl, Eran., 102.

187

Opera, ed. Erlang, XVIII, 58.

188

Tischreden, II, 65, 8.

189

Kuhn, I, 88.

190

Kuhn, I, 88; Booth, 84.

191

Kuhn, I, 106–107.

192

Febvre, 92.

193

Op., ed. Weimar, I, 142; Febvre, 92.

194

Febvre, 63.

195

Kuhn, I, 114.

196

Booth, 89–90.

197

Kuhn, I, 122.

198

Ibidem, I, 130.

199

Booth, 93.

200

Brentano, 51.

201

Kuhn, 163.

202

Kuhn, I, 121; Booth, 92.

203

Kuhn, I, 159; Febvre, 93.

204

Kuhn, I, 228–231, 161, 171–174.

205

см. сноску выше.

206

см. сноску выше.

207

Febvre, 86.

208

Febvre, 85–88; Kuhn, I, 177; Brentano, 59.

209

Kuhn, I, 178–179.

210

Brentano, 61; Kuhn, I, 185–186.

211

Kuhn, I, 181.

212

Kuhn, I, 181–185, 194; Brentano, 61.

213

см. сноску выше.

214

см. сноску выше.

215

см. сноску выше.

216

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Booth, 108–109; Strohl, 123.

217

Kuhn, I, 192, 197.

218

см. сноску выше.

219

Brentano, 126.

220

Kuhn, I, 201, 202, 198.

221

см. сноску выше.

222

см. сноску выше.

223

Kuhn, I, 204; Тезисы, 62–66.

224

Kuhn, I, 206; Тезисы, 92–95.

225

Kuhn, I, 204–205; Тезисы, 76–77.

226

Kuhn, 208; Тезисы, 82.

227

Kuhn, I, 206; Тезисы, 86.

228

см. сноску выше.

229

Kuhn, I, 212, 133.

230

см. сноску выше.

231

Febre, 115.

232

Booth, 113 – 114

233

Tischreden, III, 197; Kuhn, I, 269.

234

Kuhn, I, 228, 225.

235

см. сноску выше.

236

Febvre, 196.

237

Strohл, Епан., 293; Kuhn, I, 235.

238

De Wette, I, 199.

239

Strohл, Епан., 251; Kuhn, I, 247.

240

Kuhn, 200–211.

241

Kuhn, I, 270.

242

Michelet, II, 100; Strohл, 135.

243

Febvre, 115.

244

Kuhn, I, 280–282; Strohл, 135; Brentano, 72; Booth, 118.

245

Kuhn, I, 286–287.

246

Kuhn, I, 290; Opera, II, 361.

247

Kuhn, I, 291.

248

Strohl, 136.

249

Brentano, 73.

250

Kuhn, I, 292–293.

251

Colloq., II, 174; Kuhn, 297.

252

Kuhn, 299–305; Strohl, 136.

253

Colloq. II, 175; Kuhn, 308.

254

Kuhn, I, 299–309; Oper. Erlang., II, 413; Epist. Spalats, 14 oct., 1517.

255

Kuhn, I, 300.

256

Kuhn, I, 308; Myconius, Histor. Reformat.

257

Kuhn, I, 312.

258

Kuhn, I, 310.

259

Walch, Oper. Luth. XXIV, 15; 731; Kuhn, I, 316.

260

Brentano, 79.

261

Tischreden, ap. Brentano, 79; Booth, 119.

262

Luther d'apres Luther, 42.

263

Sleidan, De statu religionis et republicae. Carolo V Caesare, comment. 1885, vol. 1; Kuhn, I, 32.

264

Kuhn, I, 329.

265

Kuhn, I, 334–335.

266

Kuhn, I, 341; Oper. ed. Erlang. I, 21.

267

Luther, Briefwechsel, De Wette, I, 207; Kuhn, I, 332–333.

268

Kuhn, I, 338; De Wette, I, 333.

269

De Wette, I, 236; Kuhn, I, 338.

270

Kuhn, I, 340.

271

De Wette, I, 217–243; Kuhn, I, 345.

272

Strohl, 141.

273

Kuhn, I, 351; Loscher, *vollständige reformationen acta et documenta*, III Band, 292 s. s.; Oper. ed. Erlang, III, 18 s. s.; Booth, 121–122.

274

Mossellanus ap. Kuhn, I, 357; Booth, 122; Brentano, 93.

275

Booth, 123.

276

Cochleus, *Commentaria de actis et scriptis Mart. Lutheri*, ed. Paris, p. 5; Kuhn, 365.

277

Moselanisus ap. Kuhn, I, 347.

278

Loescher, *Vollständige Reforme acta et documenta*, III, 278; Kuhn, I, 364.

279

Kuhn, I, 257–258; Loscher, II, 435.

280

Hofmann, *Lebensbeschreibung Ides Ablasspredigers Dr. J. Tetzel*, 123–126; Kuhn, I, 186.

281

Sleidan, *De statu relig et reipublicae, Carolo V, Caesare*, comment, trad. fr.; Kuhn, I, 366, note 1.

282

Kuhn, III, 140.

283

Kuhn, I, 359.

284

Oper., ed. walch. 1740–1753, xv, 1430; Kuhn, I, 359.

285

Kuhn, I, 371.

286

Michelet, I, 265; Kuhn, I, 448; Bullarium, ed. Coquelines, III, 3, p. 487.

287

Michelet, La Reforma, p. 112, Kuhn, I, 449.

288

Booth, 124.

289

Strohl, 145.

290

Enders, Luthers Briefwechsel, II, 432, Op, ed. Weime, VI, 329; Strohl, 147

291

Op. Ed. Erlang. XXIV, 35 s. s.; De Wette, I, 521; Kuhn, I, 466.

292

Strohl, Efanus, 3, 315–316; Enders, II, 461, 18 s. s. – 491, 28 s. s.

293

Propos de Table, II, 48.

294

Michelet, II, 178–179.

295

Kuhn, I, 469; Brentano, 116; Booth, 124–125; Strohl, Epan, 288.

296

De Wette, I, 541; Kuhn, I, 470.

297

Epilomae responsionis Silv. Pruratis, 1520, Loescher, vollstandige Reform., acta et documenta, 1727–1733, II, 435; Kuhn, I, 261.

298

Brentano, 109.

299

De Wette, I, 466; Seckendorf, Historia Lutheranismi, 1691, I, 114; Opera ed. Erlangen, V, 252 s. s.; Kuhn, I, 470.

300

Opera ed. Erlangen, IV, 266 s. s.; Kuhn, I, 435–439.

301

Brentano, 111; An den christlichen Adel deutscher Nation.

302

Strohl, Epan., 251, Enders, Luthers Briefwechsel, I, 103.

303

Strohl, Epan., 316; Enders, Luthers Briefwechsel, II, 332.

304

Kuhn, I, 338; De Wette, Luthers Briefwechsel, I, 233.

305

Strohl, 243.

306

Enders, Luthers Briefwechsel, II, 432; Op. Ed. Weim, VI, 329; Strohl, 147.  
Письма Лютера к Спане... 1520 г.

307

Kuhn, I, 437; Op. ed. Erlang, IV, 266 s. s.

308

Brentano, 99, Письмо от 3 окт. 1519 г.

309

Kuhn, I, 495; De Wette, Luthers Briefwechsel.

310

Strohl, 211; Kuhn, I, 519.

311

Kuhn, I, 483.

312

De Wette, Luthers Briefwechsel, I, 556; Kuhn, I, 483.

313

Foerstemann, Neuers Urkundsbuch, 56; Maurenbrecherer, Studien und Sqizzen zur Geschichte der Reformationszeit; Kuhn, I, 485–486.

314

Foerstemann, 64; Kuhn, I, 499; Strohl, 182.

315

Enders, Luthers Briefwechsel, III, 113; Febvre, 183.

316

De Wette, I, 575. Foerstemann, 44 s. s.; Kuhn, I, 501.

317

Kuhn, I, 503; Booth, 137.

318

Booth, 136.

319

Op. ed. Erlang., LXIV, 367; Kuhn, I, 505–507; Strohl, 203 Enders, Briefwechsel, III, 121.

320

Kuhn, I, 507; Brentano, 123.

321

Strohl, 205; Brentano, 138.

322

Spangenberg, Adelspiegel, II, 54; Kuhn, I, 508.

323

Brentano, 124.

324

Booth, 141.

325

Kuhn, II, 509; Brentano, 122; Febvre, 187.

326

Brentano, 132.

327

Op. ed. Erlang., LXIV, 289 s. s.; Kuhn, I, 511–512.

328

Mathesius, Das Leben Dr. M. Luthers, 1817, с. IV, s. 33, Op., ed. Erlang.

329

Wrede, Deutsche Reichstagsakten unter Reiser Karl V, III, 555; Febvre, 187; Kuhn, I, 518.

330

Kuhn, I, 517.

331

Strohl, 209.

332

Kuhn, I, 517–518.

333

Kuhn, I, 518; Strohl, 208.

334

Op. ed. Erlang., LVIII, 404.

335

Inferno, III, 50.

336

Cochleus, Colloquium Cochlaci cum Luthero wormatiale habitum, 1540, Op. ed. Erlang, XXXI, 302. Janssen, Geschichte des Deutschen Volkes, 1881, II, 599; Kuhn, I, 526–527.

337

Kuhn, I, 520; Selnecker, Historia narrativa et oratio de Doct. Martin Luthero, Lepsi, 1575, p. 109 s. s.

338

Kuhn, I, 528–529.

339

Kuhn, I, 518; Riedder, Nachrichten, с. IV, s. 96.

340

Kuhn, I, 529.

341

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Kuhn, I, 528; Brentano, 128.

342

Spalatini, *Annales reformationis*, ed. Cypriani, p. 49 s. s.; Seckendorf, *Histor. Lutheranismi*, 1691, I, 158; Kuhn, I, 530.

343

Одиссей, ил., 366–370.

344

Op. ed. Erlangen, LIII, 64; Enders, *Luthers Briefwechsel*, III, 128.

345

Febvre, 258.

346

Febvre, 198.

347

Booth, 154, Kuhn, I, 532.

348

Brentano, 130.

349

Ranke, *Deutsche geschichte un Zeitalter der Reformation*, 1842, XI, 50.

350

Kuhn, I, 534.

351

Kuhn, II, 3; Brentano, 130.

352

Enders, *Luthers Briefwechsel*, III, 155.

353

Enders, II, 148.

354

De Wette, II, 89, 50, 89.

355

см. сноску выше.

356

см. сноску выше.

357

End, III, 189.

358

De Wette, II, 1.

359

End, III, 154, 171; Febvre, 201.

360

End, III, 171.

361

De Wette, II, 22.

362

De Wette, II, 22; Brentano, 133; Kuhn, II, 6.

363

Febvre, 201; Kuhn, II, 5.

364

Colloquia, ed Bundseil, III, 225.

365

Tischreden, III, 37; Myconius, VL, 42.

366

Tischreden, ed Frankfurt, 1568, in folio, p 12.

367

Goethe, Faust, I.

368

Colloq, II, 297.

369

End, III, 243.

370

Tischreden, ed 1568, p 229; Michelet, Memoires de Luther, 1837, II, 185; Brentano, 153.

371

Febvre, 270.

372

Homer, Hymn ad Demetr.

373

Tischreden, ed. Frankfurt, 1568, p 215–216; Michelet, II, 177.

374

Op. ed. Erlangen, 1862–1870, XV, 57 ss Lobgesang der heiligen Jungrfrau Maria, gen das Magnificat, 1521.

375

De Wette, Briefwechsel, II, 212.

376

Von der Berchte, De Votis monasticis, Predigt vom ehelichen Leben. An den Bock zu Leipzig. Contra henricum regem Angliae, Passional Christi und Antichristi; Kuhn, II, 15–17, III, 394–395.

377

Kuhn, II, 41; Brentano, 139.

378

De Wette, II, 123.

379

Strohl, 219.

380

Febvre, 212.

381

Brentano, 280.

382

Brentano, 275, Tischreden.

383

Brentano, 281.

384

Kuhn, II, 47.

385

Febvre, 213–214.

386

Febvre, 236–237; Kuhn, II, 43.

387

Booth, 225.

388

Strohl, 260.

389

Op. Luth. ed Walch, Halle, 1740–1753, vol XVI, 157; Kuhn, II, 221.

390

Strohl, 226, 270.

391

см. сноску выше.

392

Epit. Respons. Silv. Prieratis, 1520; Loescher, volst. Reform. acta et docum., II, 435.

393

Ibidem.

394

End, III, 316; Febvre, 243; De Wette, II, 124.

395

Corpus Reforma, I, 533; Kuhn, II, 49.

396

Senckendorf, Hist. Lutheran, 1691, I, 193; Kuhn, II, 49.

397

Bretschneider, Corpus Reformat., 1842, I, 566; Kuhn, II, 53.

398

см. сноску выше.

399

De Wette, II, 124.

400

Brentano, 157.

401

De Wette, II, 124; Kuhn, II, 53.

402

Brentano, 158.

403

Kuhn, I, 351.

404

De Wette, I, 135.

405

Op. Erlang, XXVI, 201; De Wette, I, 546.

406

Kuhn, II, 45; Febvre, 229.

407

De Wette, II, 141-147.

408

Kuhn, II, 68-69.

409

Febvre, 227; Op. Erlang., LIII, 104; Kuhn, II, 57.

410

Kuhn, II, 71-72; Febvre, 253; Op. Erlang., XXVIII, 204 ss.

411

De Wette, II, 135; Kuhn, II, 53.

412

Strohl, 259.

413

Cammerarius, Vita Melarichtinis; De Wette, II, 178, 181; Kuhn, II, 74–75.

414

Kuhn, II, 48.

415

Strohl, 279, 269.

416

см. сноску выше.

417

Cochleus, Commentaria de actis et scriptis M. Lutheri, 1549; Kuhn, II, 18.

418

Brentano, 190.

419

Strohl, 260.

420

Goethe, Faust, I, Studierzimmer.

421

Kuhn, II, 193; Brentano, 192.

422

Op. ed. Walch, 1753, XVI, 25 ss.

423

De libertate christiana, Von der Freieheit eines Christenmenschen, 1520.

424

Kuhn, II, 197.

425

Strohl, 263.

426

Op. ed. Weimar, XVIII, 279.

427

Booth, 180; Brentano, 195.

428

Booth, 181.

429

Kuhn, II, 151; Martin Reinhardt, Doct. M. Luther's Handlung mit dem Rath und gemeinde der Stadt Orlamind; Op. ed. walch, XV, 2435 ss.

430

Kuhn, II, 140.

431

Kuhn, II, 136-138. Seidemann, Forschungen zur deutschen Geschichte, II, 337; Ranke, Deutsche Geschichte um Zeitalter der Reform., 1842, II, 145.

432

Op. Erlangen, LXV, 14 ss.

433

Brentano, 216.

434

Kuhn, II, 193-194; Michelet, I, 164.

435

Brentano, 192.

436

Corpus Reformat., I, 741.

437

Brentano, 192, 191.

438

см. сноску выше.

439

Kuhn, II, 259.

440

Cochleus, Comment. de actis et scriptis Lutheri, 1549, p. 16.

441

Op. ed. Weimar, XVIII, 344-361.

442

Enders, Luth. Briefwechsel, V, 181; Kuhn, II, 217-218; Brentano, 182-183; Booth, 182-183.

443

Op. ed. Walch, XVI, 215, 157; Kuhn, II, 220-221.

444

Strohl, 271.

445

Brentano, 201-202.

446

Kuhn, 99, 191.

447

Brentano, 203.

448

De Wette, III, 22.

449

Brentano, 203.

450

Febvre, 270.

451

Op. ed. Erlangen, XXV, 329 ss.; Kuhn, II, 431.

452

Kuhn, III, 67-68; Michelet, II, 29.

453

Strohl, 275; Brentano, 68.

454

Kuhn, III, 70.

455

Strohl, 283–284.

456

Origen, Peri archon, III, 1, 21.

457

Kuhn, III, 70, 85; Michelet, II, 41.

458

Kuhn, III, 67–89; Strohl, 285–288; Michelet, II, 28–55.

459

Op., ed. Erlang., LXIII, 336.

460

Michelet, II, 196; Op., ed. Wittenberg, II, 1 ss.

461

De Wette, II, 135; Kuhn, II, 54.

462

Op., ed. Wittenberg, XI, 268; Strohl, Epan., 282.

463

Strohl, Luth., 277.

464

End., Luth. Briefwechsel, VI, 6.

465

R. Will, La liberte chretienne, etude sur le principe de la piete chez Luther, 1922, p. 296 ss.

466

Op., ed. Walch, XI.

467

Strohl, 274.

468

Tischreden, ed. Weim, I, p. 79.

469

Op., ed. Walch, XI; Gogel, 159.

470

Op., ed. Erlang, XXV, 1 ss.; Kuhn, III, 7–8.

471

Op., ed. Walch, XI; Gogel, 162.

472

Op., ed. Walch, XIX, 623; Gogel, 170.

473

De Wette, III, 155.

474

Op., ed. Walch, XXI, 158 ss.; Kuhn, II, 352–353.

475

Goethe, Faust I, Walpurgisnacht.

476

Brentano, 165; Booth, 167, 139.

477

Febvre, 278; Kuhn, III, 212.

478

Tischreden, ed. Frankfurt, 1568, s. 220; Michelet, II, 187.

479

De Wette, II, 522; Kuhn, II, 214–215; Brentano, 166.

480

Booth, 192–193.

481

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Tischreden, ed. Frankfurt, 1568, s. 315; Michelet, II, 721.

482

De Wette, III, 83–84; Op., ed. Erlang, LIII, 364; Febvre, 269.

483

Booth, 196.

484

Kuhn, II, 249, 254.

485

Tischreden, n. 49, n. 1965; Brentano, 319.

486

Kuhn, III, 216–217.

487

De Wette, V, 452.

488

Kuhn, III, 213.

489

Op., ed. Erlang., I, 212.

490

Op., ed. Weim, X, pars II, 290.

491

Tischreden, ed. Weim, III, 25; Febvre, 285.

492

Tischreden, n. 2733 a; Brentano, 320.

493

Tischreden, ed. Frankfurt, 1568, p. 224; Michelet, II, 182–183.

494

Alb. Mason, Erasme, 1933, p. 219.

495

Kuhn, II, 176.

496

Kuhn, II, 182–183.

497

Faust, I.

498

Alb. Mason, Erasme, 1933, p. 111, 115.

499

Alb. Mason, 229.

500

Op., ed. Weim, XI, p. I, 363.

501

Op., ed. Erlang., XVI, 142–148.

502

Tischreden, ed. Weim, III, 62, 28; Op., ed. Weim, XLVII, 328; Maritain, 46–48.

503

Op., ed. Weim, XL, p. I, 364.

504

Enders, III, 163; Kuhn, I, 380.

505

Kuhn, III, 177–181.

506

Op., ed. Weim, IV, 420 ss.; Op., Erlang., XIII, 183 ss.; XIV, 178 ss.; XXXII ss., 64, 75, 325 ss.; Colloq. De Wette, V, 64, 69; Kuhn, III, 181.

507

Joh. Mathesius, Das Leben Dr. Martin Luther's, 1817, c. VII, s. 57.

508

Tischreden, ed. Frankfurt, 1568, s. 6; Michelet, II, 203.

509

Coloq., III, 320.

510

Brentano, 119, 128, 332, 333.

511

см. сноску выше.

512

Strohl, 49.

513

Tischreden, ed. Frankfurt, 1568, s. 32 verso; Michelet, II, 205.

514

Kuhn, III, 356–357.

515

Michelet, II, 202–203.

516

Febvre, 282.

517

Tischreden, ed., Frankfurt, 1568, s. 295; Michelet, II, 206–207.

518

De Wette, V, 752.

519

Tischreden, ed. Frankfurt, s. 209; Michelet, II, 209, 205.

520

Brentano, 333.

521

Tischreden, ed. Frankfurt, 448 verso.

522

Michelet, II, 209–210.

523

De Wette, V, 708, 555.

524

De Wette, V, 350.

525

Ratzberger, Handschriftliche geschichte uber Luther und seine Zeit, 1850, s. 130.

526

Op., ed. Erlang., XVI, 139.

527

Kuhn, Le christianisme de Luther, 1900, p. 19.

528

Strohl, Epan., 102; J. Baeuzi, S. Jean de la Croix, 1931, p. 184-185.

529

Acta Philippi cod. Oxon, c. 34.

530

De Wette, III, 186, 189; Kuhn, II, 362.

531

Op., ed. Walch, XXI, 158 ss.; Kuhn, II, 361.

532

Kuhn, III, 144.

533

Op., ed. Erlang., XXXII, 42 ss.; Kuhn, III, 359-360.

534

Kuhn, III, 319.

535

Colloque, 1, 97.

536

Kuhn, III, 363-364.

537

De Wette, V, 783; Booth, 237; Kuhn, III, 365.

538

Mathesius, XII, s. 86.

539

De Wette, V, 782, 789.

540

см. сноску выше.

541

Ratzberger, 1850, s. 140.

542

Mathesius, c. XII, s. 86.

543

Kuhn, III, 369.

544

De Wette, V, 790.

545

Mathesius, c. XII, s. 37; Brentano, 310.

546

Mathesius, c. XII, 85–92.

547

Kuhn, III, 384.

548

Kuhn, II, 382.

549

J. Ficker, Luthers Vorlesung über den Römerbrief, 1908, II, 10.

550

Kipler, 1868, p. 73.

551

Fr. Lippman Lucas, 1895, 61.

552

Tischred, 197, 1210.

553

Booth, 117.

554

Bretscheider, 1842, III, 139.

555

Brent, 306.

556

De Wette, I, 417.

557

Prop. de Table, I, 21.

558

Op. ed. weit, VI, 347.

559

Henry, 1838, II, 252, 353.

560

Op. ed. Erlang, XXIV, 329.

561

Seidemann, 1872.

562

Colloq. 1. 15.

563

Brent, 297.

564

Mathes, s. X.

565

Tischred, 2347, Brent, 310.

566

De Wette, I, 30–42; Kuhn, I, 143.

567

Brent, 214.

568

De Wette, 11, 43.

569

Booth, 229.

570

Colloq, I, 252.

571

Tischred, 615.

572

Op., ed. weine, II, 226.

573

Tischred, 2387.

574

Booth, 230.

575

Pseudo Math, XXX, 40.

576

Tischred, 869.

577

Tischred, 1197; ср. Tischred, 1568, s. 32; Michelet, II, 1986.

578

Colloq. I, 231; Kuhn, III, 221.

579

Tischred ap. Brent, 155.

580

De Wette, I, 49.

581

Luther d'apres Luther, 139, 156.

582

см. сноску выше.

583

De Wette, I, 491.

584

Op. Latina ed, 1542, I, 15; Kuhn, III, 358.

585

Tischred, 352.

586

Tischred, 2657 a.

587

De Wette, I, 432.

588

Mathes, c. VI, s. 51.

589

Henry, I, 481; Mathesius, Das Leben M. Luthers.

590

Op., ed. walch, XXI.

591

Clement Alex Strom, II, 9, 45; V, 14, 57.

592

Colloq. III, 271; Kuhn, I, 40.

593

Tischred, n. 2139; Brent, 236.

594

Мережковский Д. Лютер [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Colloq. I, 300, 246; Kuhn, III, 296.

595

Colloq, I, 2.

596

Tischred, n. 2569.

597

De Wette, IV, 62; Kuhn, II, 462.

598

Tischred, n. 1355, 2403 b.

599

Op., ed. Weim, IV, 648, 649.

600

Colloq. I, 81.

601

Tischred, n. 1234; Brent, 235.

602

Op., ed. Weim, IV, 84; Kuhn, I, 387.

603

Acta Petri cum Simone c. X. Resh Agrapha, 277.

604

Luther d'apres Luther, 165.

605

Ennermann, II, 284, 11 Marz, 1832.

606

De wette I, 389; Kuhn, I, 392.

607

Febvre, 174.

608

Strohl, 83.

609

Op. Erlang, III, 223.

610

Enders, Luth, I, 252; Strohl, 301.

611

Grenfeld and Hunt, The Oxyrhynchus papyrus, I, p. 9, sin 23. 30, Resh Agrapha, 69.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!